

Б И Б Л И О Т Е К А

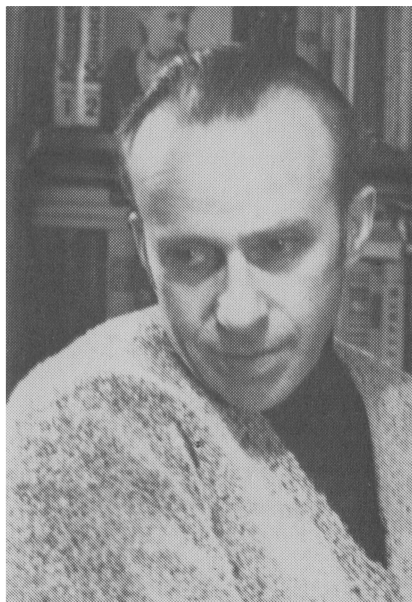
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 33

1989



В. КАРДИН

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Б И Б Л И О Т Е К А « О Г О Н Е К » № 33

Издается с января 1925 года

В. КАРДИН

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

В. КАРДИН

Кардин В. (Эмиль Владимирович) родился в 1921 г. в Москве. В 1939 г. поступил учиться на Литературный факультет Института Истории, Философии и Литературы (ИФЛИ). С 1941 г. боец Советской Армии; день Победы встретил под Прагой в звании капитана. В 1951 г. окончил Военно-политическую Академию имени В. И. Ленина.

С 1954 г. печатается как критик в «Новом мире» и в других периодических изданиях. Писал статьи о современной литературе, театре, кино. Выпустил ряд книг; среди них — «Верность времени», «Сегодня о вчерашнем», «Достоинство искусства», «Пристрастие», «Две судьбы», «Точка пересечения» и другие.

Перу В. Кардина принадлежат документальные повести «Сколько длится полвека?», «Открытый фланг», «Возвращение», «Объяснительная записка», «Минута пробуждения».

Некоторые статьи В. Кардина, опубликованные в журналах «Новый мир» и «Театр», а также книга «Достоинство искусства» вызвали резкие нападки в печати, обвинения в «очернительстве», «дегероизации» и т. д.

Член Союза писателей СССР.

ЖИЗНЬ — ЭТО СВОБОДА...

Масштабы художественного события определяет время. Оно поможет соотнести роман «Жизнь и судьба» с другими произведениями, окончательно установить его связь с классической традицией, место в литературном ряду; не предугадывая результатов, не претендуя на всестороннее рассмотрение, я попытаюсь говорить о завершенном почти тридцать лет назад романе как о событии в нашей сегодняшней жизни. Пусть даже кто-то из читателей не принял роман или принял с оговорками.

Успех первой части дилогии В. Гроссмана романа «За правое дело», начатого в 1943 году под впечатлением Сталинградской победы и спустя девять лет опубликованного в «Новом мире», не на шутку встревожил многих писателей, слывших знаками военной темы. М. Бубеннов, автор ныне безнадежно забытой «Белой березы», опубликовал разгромную статью в «Правде». А. Первенцев, создатель романа «Честь смолоду», где крымские татары походя объявлялись нацией предателей, обвинил В. Гроссмана в «идеологической диверсии».

Такие свистопляски оставляют глубокий след в духовной жизни, а для кое-кого служат своего рода курсом обучения: вот как устраняется талант, вот как подбираются обвинительные пункты применительно к эпохе. Будь то эпоха закрута или застоя, волюнтаризма или гласности, когда борьба таланта и бездарности, свободолюбиво-демократической тенденции и тенденции авторитарно-бюрократической особенно обостряются.

В начале 60-х годов мне случайно попала стенограмма обсуждения романа «За правое дело» на очередном полузакрытом совещании в Союзе писателей. Автор отсутствовал, роман отстаивали редактор «Нового мира» А. Твардовский и его зам. А. Тарасенков. Член редколлегии журнала М. Бубеннов к обвинениям, известным по его статье, добавил еще одно: образ Гитлера дан, а образ товарища Сталина отсутствует.

Мне запомнились несколько фраз, периодически повторяемых председателем. «Миша, — взывал он к Бубеннову, — только, пожалуйста, не волнуйся, береги себя. Товарищ Сталин заботится о твоём здоровье».

Как известно, товарищ Сталин заботился о здоровье далеко не всех писателей. И отнюдь не всех читателей. Трогательная просьба председателя сообщала особенно зловещий характер обсуждению.

Вскоре после смерти Сталина роман «За правое дело» реабилитировали, официальную критику его объявили ошибочной. В. Гроссман, продолжавший все эти годы работать над «Жизнью и судьбой», воспрянул духом. Однако новый роман ждала еще более тяжкая участь. В 1961 году с ним ознакомились в редакции «Знамени». Знакомство привело к тому, что все экземпляры рукописи были изъяты.

В. Гроссман обратился с письмом на имя Н. Хрущева. Его вызвал М. Суслов и посулил опубликовать роман лет через 200—300.

Человек, написавший: «Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой», не желает считаться с тем, что увеличен процент осколочков правды. Изменена пропорция, но не принцип. Роман «За правое дело» ставил под сомнение саму систему навязывания нормативов искусству.

Для 40—50-х годов нормой была, скажем, картина «Сталинградская битва», для 60—70-х — сериал «Освобождение». С помощью таких громгласно одобряемых фильмов, книг, батальных полотен обрабатывалось сознание даже тех, кто на своей шкуре изведal правду о войне.

Правда, высказанная в романе «Жизнь и судьба», горька, она трудна всем нам, слишком сжившимся со стереотипами. Однако преодоление их ведется не первый год. Мы помним имена писателей — многих уже нет в живых, — посвятивших себя такому преодолению...

Всю войну В. Гроссман провел фронтовым корреспондентом «Красной звезды». Часами лежал в засаде вместе со снайпером, пробирался в гарнизон, отрезанный от своих войск, ночевал в солдатских блиндажах. Его сталинградские очерки «Направление главного удара» написаны с doskonaльным знанием переднего края и твердой уверенностью: боец — решающая фигура.

Но война для него — это и поединок снайперов, и рукопашная, и трагедия военнопленных, и мытарства эвакуированных, и газовые камеры. Тщеславное соревновательство генералов, ошибки Ставки, фронтовые романы, интриги и кляузы — тоже война. Ничто не запрещено, никакая иерархия не сковывает воображение и не связывает руки писателю. Внутренняя его свобода обеспечена весомым жизненным опытом, зрелым мастерством, энергией мышления, свободным от шор.

Сталинград помог В. Гроссману увидеть и понять гораздо больше, чем он видел и понимал прежде. Сознание правоты дела дает силы самым разным людям, попавшим в сферу действия диалогии. Но личные особенности не стираются, они способны и обостриться, выявляя сокровенную суть окопного солдата, боевого офицера, военнопленного, политотдельца, следователя с Лубянки. Объединенные общим лозунгом, не все, как выяснилось, вкладывают в него одинаковое содержание. Разногласия в штабе танкового корпуса полковника Новикова или разногласия относительно физических проблем в институте, где работает Штрум, или разногласия в подпольной группе военнопленных выходят за пределы штаба, института, лагеря.

Ставя в центр то или иное явление, В. Гроссман прослеживает, как и почему оно сделалось возможным. Он не верит в молниеносные превращения. Чувства и противоречия вызревают исподволь. Самые невероятные «вдруг» — стоит всмотреться, вдуматься — подготовлены прошлой жизнью и продолжают ее, им сопутствуют едва уловимые перепады в политическом, нравственном климате.

Полковник Новиков, чьи танки вошли в прорыв, понимает: Сталинградское направление перестает быть главным. Меняется и духовное движение войны. То, что решало в 1941 году и в боях на Сталинградском обрыве, «сохраняясь и существуя, становилось незаметно вспомогательным». Перенесение центра тяжести Новиков ощущает прежде всего благодаря комиссару корпуса Гетманову и начальнику штаба Неудобнову. Хотя как раз в эти минуты побуждения всех троих наиболее близки. Еще рывок — и корпус первым пересечет границы Украины. Это новая слава для командования, новые звания и награды. Одно смущает, сдерживает Новикова: его танки лишаются авиационной поддержки. Гетманова и Неудобнова ничто не смущает, они готовы рисковать сотнями жизней, заодно и судьбой Новикова отнюдь не ради правого дела. В обычное армейское словосочетание «живая сила» Новиков вкладывает смысл, отличный от того, какой вкладывают Гетманов и Неудобнов. Для него это худые глазастые ребята, в какую-то минуту вызвавшие пронзительную жалость. Для Гетманова и Неудобнова «живая сила» — пушечное мясо.

В обстановке гигантской битвы, максимального напряжения двух единоборствующих армий, двух народов писатель обостренно прислушивается к тихо произнесенному слову, едва уловимому движению души, считая это не менее достойным внимания, нежели стратегические замыслы и государственные постановления.

Он отвергает неизбежно все упрощающее мнение, будто на войне люди не думали, не до того было. Наоборот, настаивает он, война обострила мысль. Особенно у тех, кто не утратил способность работать собственной головой, сохранил душу.

Это, среди прочих, подполковник Даренский, успевший до войны отведать тюремной баланды. Подполковник бросит старшему по званию офицеру презрительные слова, когда тот ударит ногой ползущего на четвереньках пленного немца.

Хорошо зная военную историю, Даренский размышляет о том, что в человеческой памяти война обычно откладывается своеобразной картиной, где построены войска, одержавшие победу, или войска, потерпевшие поражение. Память хранит число колесниц, катапульт или пушек, бережет легенду о мудром и счастливом полководце. Но забываются человеческие страдания, солдатская тоска.

В кабинете за столом с военно-историческими фолиантами и атласами суждения Даренского, возможно, отдавали бы умозрительностью. Но дело происходит в приволжской пустыне.

«Чувство обреченности охватило его... Погибала Россия! Погибала здесь, загнанная в холодные приазийские пески, погибала под угрюмой

и равнодушной луной, и милая, бесконечно любимая им русская речь слилась с воплями ужаса и отчаяния разбегавшихся, покалеченных немецкими минами верблюдов.

В горькую минуту он испытал не гнев, не ненависть, а чувство братства ко всему слабому и бедному, живущему в мире; почему-то всплыло темное, старое лицо калмыка, встреченного им в степи, и показалось ему близким, давно знакомым».

Через несколько строк: «В эту ночь по указанию Сталина три командующих фронтами — Ватутин, Рокоссовский и Еременко — отдали войскам приказ о наступлении, решившем в течение ста часов судьбу Сталинградского сражения...»

Что ж, история, совершив еще один виток, повторится? Сталинграду предстоит стать очередным постаментом для памятника полководцу, своевременно отдавшему исторический приказ?

В. Гроссман отвергает идею о гениальности плана окружения немцев под Сталинградом. Сама идея окружения противника стара как мир. Однако велика заслуга организаторов наступления, точно избравших район и момент удара, наладивших взаимодействие трех фронтов. Только объявлять гением самого толкового генерала, считает автор, глупо и опасно.

Под Сталинградом решалась судьба основанного Лениным государства, судьба Европы, судьба мира. Но для Сталина это был и час его личной победы не только над вполне реальным врагом этого государства, но и над бесчисленными врагами, с которыми он сводил счета уже второе десятилетие. «Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохраняют спокойную немоту».

Как и всякий, кому удалось преступления, Сталин тешит себя надеждой: победителей не судят. В час, когда на Волге произносился смертный приговор Освенциму и Бухенвальду, он, намечая новые расправы, решал судьбу советских военнопленных — после гитлеровских лагерей их ждали лагеря Сибири и Воркуты. В час, когда гитлеровский расизм терпел сокрушительное поражение, Сталин решал судьбы целых народов, оглядываясь на опыт гитлеровского геноцида.

С мягкой гортанной интонацией Сталин произносит: «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете». И даже у повидавшего многое Поскребышева холодеют пальцы.

Писатель хочет приблизиться к пониманию того, как Сталин завладел властью, с чьей помощью ее удерживал и почему война усилила эту власть.

Народ внял его призыву сражаться за правое дело. Но какое дело вершил он сам, отделенный от сражающегося народа не только кремлевскими стенами, но и бесчисленными могилами?

Постигая противоречия войны, В. Гроссман стремится постичь противоречия, которыми полнится душа человеческая, когда ее порывы распадаются фронтовым ветром. Жизнь, открывающаяся на страницах романа, бесконечно многообразна даже в самых обыденных проявлениях.

Что, например, повседневнее для военной обстановки, чем принятие боевого приказа? Что зауряднее в обстановке научного института, чем плановая работа одной из лабораторий? Что извечнее в домашней обстановке, чем споры отца со взрослеющей дочерью? Однако какие потаенные страсти вспыхивают всякий раз и какие просторы озаряются вспышками! При том, что В. Гроссману чужды сколько-нибудь выигрышные эффекты и близок Чехов, чье имя возникает в романе чаще других писательских имен.

Обстоятельность, уравновешенность письма, фиксирующего бесконечные подробности фронтового быта или семейного, обостренное внимание к внутренним импульсам, к слову, невзначай слетевшему с уст, не вводят нас в заблуждение. В. Гроссман не холодный созерцатель, для коего самоценна деталь, а собственная зоркость дорога как таковая. Он определен и независим в своих взглядах на общество, историю, нравственные нормы, на писательский долг. Это не быющее в глаза, но постоянно ощущаемое авторское отношение к героям объединяет их не менее прочно, чем сюжетные нити. Оно помогает нам всякий раз понять, почувствовать, куда клонится жизнь человека, вовлеченного в водоворот противоречивых событий и страстей, чем оборачивается для других.

Член-корреспондент Академии наук Виктор Павлович Штрум, потеряв в гетто мать, на фронте — пасынка, совершает открытие в физике, становится объектом травли, при живой, как говорится, жене влюбляется в тихую, неприметную Марью Ивановну, жену своего давнего коллеги и друга, отшатнувшегося, едва над головой Штрума начали сгущаться облака...

События наслаиваются друг на друга, каждое душевное движение резонирует, усложняя дни и ночи людей, рождая новые тревоги, подспудно готовя новые потрясения.

Самая бесхитрая человеческая жизнь, по убеждению В. Гроссмана, сложнее, головоломнее любой теории, доктрины. Однако доктринеры его привлекают не менее тех, кто, подобно Штруму, отрешивается: что мне до политики? Я ученый, физик и т.д. Это отрешивание — форма тщетного самообмана, подтверждение конфликта с доктриной, какого-то неподконтрольного интеллигентского разлада. Он выражается во фрондерстве, в рискованном анекдоте, рассказанном за чаем, а также в страхе и за свое фрондерство, и за анекдот. Среди героев романа «Жизнь и судьба» встречаются люди, свободные от такого страха. Позволяя себе умеренное свободомыслие, они не делают вид, будто непричастны к официальной доктрине. Но и они не гарантированы от превратностей судьбы. Крымов, партиец с дореволюционным стажем, предстает перед следователем-энкаведистом. Друг Крымова, видный сотрудник Коминтерна Мостовской, попадает в немецкий лагерь для пленных. К нему в приятели-собеседники набивается оберштурмбанфюрер Лисс.

Если победам гитлеровской армии над советской суждено стать окончательными, рассуждает Лисс, национал-социалистское государство

останется с глазу на глаз с остальным ненавидящим его миром. Вот что тревожит философа-гестаповца. Тревожит, однако и успокаивает: военная победа одной из сторон, считает он, не означает еще уничтожения национал-социализма. «Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе». Он словно бы предугадывает мысли, в которых утвердится Сталин в час Сталинградской победы. Да и велика ли проницательность? В мирное время, напоминает Лисс, в немецких лагерях сидят враги партии, враги народа. Как и в советских.

Лисс считает себя теоретиком партии и ее солдатом. Как теоретик, он интересуется философией, как солдат партии, становится мастером заплечных дел. Но стоит Мостовскому упомянуть о заплечных делах, Лисс не остается в долгу: «... — Если бы Центральный Комитет поручил вам укрепить работу в Чека, разве вы можете отказаться? Отложили Гегеля и пошли. Мы тоже отложили Гегеля». Лисс одобряет массовый террор в нашей стране: все, дескать, совершенно верно, так и надо, подавление личности в порядке вещей.

Его слова для Мостовского иногда страшнее пыток. Мелькает мысль, которая и прежде, бывало, являлась на мгновение: может быть, прежние сомнения не были признаком бессилия, усталости, может быть, они содержали «зерно революционной правды», «динамит свободы»? Надо было всей революционной страстью ненавидеть лагерь, Лубянку, Ежова, Ягоду, Берия, Сталина с его диктатурой...

Но Мостовской на такое уже не способен, и, слушая Лисса, он с небывалой ясностью видит гений Сталина, который проницательно установил внутреннюю связь между фашизмом и его агентурой — «врагами народа», между фашизмом и фарисеями — проповедниками ложной свободы.

«Учитель», как его с убийственной почтительностью величает Лисс, не верит, что свобода бывает и не ложной. В презрении к свободе Мостовской роковым образом совпадает с Лиссом. Он, начинавший жизнь профессионального революционера, мечтал о равенстве, братстве, свободе.

Не лукавого гестаповца боится Мостовской, но в мыслях хотя бы приблизиться к некоей твердо прочерченной линии. Кем прочерченной? Им самим, его соратниками и учениками, охваченными доктринерским пылом и не всегда ведавшими, что творят.

Дело, разумеется, не только в пыле; воздействовали и крутые исторические обстоятельства. На солидном временном удалении нам легкое в чем разобраться. Но на душе от этого легче не становится.

Написав диалог эсесовца и коминтерновца, автор проник туда, куда прежде не проникали. Но иначе, выходит, не мог, испытывая власть более сильную, чем законное желание увидеть роман напечатанным. Почувствовать такую власть дано только истинному художнику, безоглядно устремленному к правде.

Нам еще придется оглядываться на эту сцену. Проблема персональной ответственности в конечном счете решающая. Форм личной от-

ветственности множество. Кровь, пролитая Мостовским в гитлеровском концлагере, и Крымовым, попавшим во внутреннюю тюрьму НКВД, вряд ли уменьшает их вину за все, что совершалось на их глазах прежде, при их активном содействии.

Николай Григорьевич Крымов — «сквозной» герой дилогии. Всякое его появление вносит в роман что-то новое или обновляет уже известное, подтверждает случайность поступка, высказывания. Такие приходы и уходы главных героев позволяют писателю, не склонному увеличивать круг вовлеченных в действие, открывать новые планы общего полотна. Почти каждый приход сюжетно завершен, словно отдельная новелла. Чередуясь, они создают пространственную даль романа и открывают глубины человеческого характера, казалось бы, уже знакомого.

Размеры статьи позволяют проследить далеко не за всеми героями, всеми человеческими и общественными проблемами, пересечением всех судеб.

Крымов связан родственными, дружескими либо служебными узами со многими людьми, знакомыми нам по дилогии. Будто писателю необходимо сверяться по Крымову, проверять других реакцией на Крымова и крымовской реакцией на других. Крымов старается осмыслить происходящее, соотнести его с системой взглядов, выработанных за долгие годы. Одновременно вырабатывалось, оказывается, и умение в каких-то случаях напористо отстаивать свои воззрения, в иных умалчивать о них. Он не был приспособленцем, но был тактиком. Минутами чувствовал свою раздвоенность, тяготился ею, но умел одолевать преходящие колебания, не доводя их до циничного двоемыслия. Да и не сухарь он — уход жены становится незаживающей раной. Саднит душу и память о товарищах, исчезнувших в 37-м, болезненное недоумение вызывают кое-какие идейные поветрия военных лет. Ему, убежденному интернационалисту, трудно мириться с тем, что фронтовая пропаганда обходит антифашистский характер войны, предпочитая будить мстительное чувство к немцам. Но, умея теоретически обосновать любые явления, взять в расчет международную обстановку и внутреннюю, подвести, как говорится, базу, он снимет проблему и сам избавится от беспокойства.

Крымов скажет о суровости советского гуманизма, вспомнит, как высмеивал Штрума, его невестку, свою бывшую жену Евгению Николаевну, охавших по поводу раскулаченных. Он сам, не колеблясь, готов был уничтожить белогвардейских гадов, меньшевистскую и эсеровскую сволочь, потом — кулачье...

Слово «гуманизм» удастся предварять любыми эпитетами, но им не оправдаешь огульные расправы. Уже обреченные на гибель, Мостовской и Крымов продолжат духовно соучаствовать в преступной жестокости.

Мостовской еще вспомнит Лисса, когда к нему придет руководитель подпольной группы, чтобы получить «добро» на уже предпринятый шаг: подпольщики сумели переложить в нужное место карточку своего товарища Ершова, и тот попал в группу отобранных для уничтожения в Бухенвальде. Майор Ершов внушал подозрение — он не состоял в пар-

тии, держался независимо, к нему тянулись люди. Руководители подполья, проявив подобающую бдительность, вынесли приговор Ершову, предоставив исполнение его гестаповцам. Подпольщики, правда, проморгали провокатора, который всех их вскоре выдал.

Михаил Сидорович Мостовской успел одобрить решение своих товарищей относительно Ершова.

Так одобрял он коллективизацию, политические процессы над друзьями революционной молодости.

И Крымов, еще не догадываясь, что внесен в проскрипционный список, успевает, вернувшись из окруженного немцами в Сталинграде дома «шесть дробь один», написать донос на легендарного «управдома» капитана Грекова, который, как и Ершов, не больно жаловал чины и звания. Зато умел воевать.

Торжествовала закономерная последовательность. Крымов и Мостовской оправдывали массовые репрессии, принимали как должное свои привилегии и считали себя прежде, чем попали в немецкий лагерь или на Лубянку, свободными людьми. Хотя давно перестали ими быть и не чувствовали, что утрачено главное.

Они предали не только товарищей, но и самих себя, предали идею, за которую сами когда-то шли на крест.

Великие преступления издавна совершаются под прикрытием высокой идеи. Корыстные, властолюбивые намерения главарей выносятся за скобки. В. Гроссман написал о подоплеке преступлений, о 37-м. Первым с такой прямоотой написал о драматических перекосах коллективизации, их масштабе (еще до «Канунов» В. Белова, «На Иртыше» С. Залыгина), а в годы войны написал о «Треблинском аде». В романе «Жизнь и судьба» трагедии 30—40-х годов XX столетия обретают связь между собой. В. Гроссман говорит о пасынках времени.

В майоре Ершове, разрабатывавшем дерзкий план восстания военнопленных, жило «неистребимое презрение к насилию», он понимал свою борьбу с немцами как борьбу за свободную русскую жизнь: победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями в России, где погибли как кулаки его мать, сестры, отец. Он не предполагает, что в другом конце материка другой пасынок времени — политический ээк — внушает своему лагерному товарищу: без свободы нет пролетарской революции.

В этом отношении Гитлеру с евреями повезло — они ходили пасынками в разные исторические эпохи. Но и Гитлер, проводя акции истребления, разлагался от интереса к высшим интересам рейха, и лишь совсем немногие знали, что в нижнем этаже крематория специалисты отыскивают золотые коронки — часть золота идет в казну, часть оседает в карманах палачей. Как и всякий насильственный режим, подавляющий свой народ, фашизм должен был растлевать немцев, науськивать на другие народы, изображая тех звероподобными или хитроумно злонамеренными. Гитлер, его предшественники и преемники пороха не выдумали.

Воспроизводя одну из самых чудовищных трагедий века, В. Гроссман всматривается в лица старые и молодые, красивые и уродливые, за-

мечает человеческие слабости, а когда обреченных заставляют раздеться, опишет волосатые мужские спины, толстые плечи, жилистые женские ноги и большие груди. Лишь одним отличаются эти люди от остальных: сейчас они войдут в бетонную камеру и перестанут быть. Их страдания оборвутся, но страдания человечества от этого не уменьшатся. Напротив, будут расти.

Автор романа и здесь не хочет даровать нам иллюзию избавления от груза, части его.

Есть ли у нас право, основание претендовать на снисходительность? Не слишком ли долго, упорно, мы, оберегая свой душевный комфорт, подобно Крымову, предпочитали неведение или «подводили базу»?

Что же противопоставляет В. Гроссман жестокости, преступлению? Обладает ли сострадание реальной силой протеста?

В. Гроссман рассказывает, как Софья Осиповна Левинтон ведет за руку бездомного мальчугана Давида и в предсмертный миг прижимает к себе. Как подполковник Даренский вступается за полуживого пленного немца, а полковник Новиков, распределяя остатки горючего, приказывает эвакуировать на грузовиках раненых немецких солдат. Как старуха украинка Христя Чуняк спасает русского солдата, бежавшего из плена.

Евгения Николаевна, оставившая Крымова (почувствовала его равнодушные к людям, склонность к схоластике), отрекается от своей счастливой любви к Новикову. Крымов арестован, и она дежурит в скорбной очереди в приемной НКВД на Кузнецком, 24, собирает ему посылку, пишет заявление.

Много это или мало?

Для В. Гроссмана бесспорно лишь то, что истинное сострадание не бывает избирательным, подвластным только национальной, расовой, социальной солидарности или даже родственным чувствам. Ради него приходится преодолевать опасность, эгоизм, какие-то догмы, идти на риск, нередко на жертвы.

В месяцы Сталинградского сражения, которые охватывает диалогия, многое из повседневного обихода высветилось с ясностью, недоступной прежде. Сколько раз на своем веку Виктор Павлович Штрум заполнял анкету, а лишь сейчас ему начал открываться подспудный смысл каждого пункта. Даже ответив на самый простой вопрос — «пол», Штрум испытал смущение. Будь он настоящим мужчиной, разве смолчал бы после отстранения от работы академика Чепыжина?

Он уже почувствовал, какое коварное значение начинает набирать пятый пункт анкеты, но еще не предвидел последствий этого пункта для калмыка, балкарца, чеченца, крымского татарина, еврея. Он впервые обнаружил родство между пятым пунктом и шестым, вопрошавшим о социальном происхождении. Прежде ему представлялось справедливым недоверие к человеку с «дурным» происхождением. Но разве дворянство или купечество в крови у детей, внуков дворян, священников, купцов?..

Однако Штрум заблуждался, полагая, будто простыня с вопросами, лежащая сейчас у него на столе, — коллекция абсурдов и нелепостей. Анкета служила средством надежного отбора по признакам, безразличным к способностям и душевным проявлениям того, кто ее заполняет. Но позволяла отбирать по другим признакам, внятным специально вышколавленным работникам-кадровикам. Начальник отдела кадров металлургического завода не смыслит в металлургии, его коллега из сельскохозяйственного института не сведущ в агрономии. Но голоса их определяют, кому возглавить прокатный цех или лабораторию по выращиванию злаков. Итог такого отбора академик В. Вернадский осенью сорок первого года подвел в своем дневнике: «Цвет нации заслонен дельцами и лакеями-карьеристами».

В искусстве, науке отбор по сугубо анкетным данным несколько затруднителен, поэтому здесь периодически производится «отстрел» «кулацких поэтов», «попутчиков», историков школы Покровского, экономистов школы Чаянова, «безыдейных писателей», вейсманистов-морганистов, «формалистов» в музыке, «космополитов», «очернителей», «новомирцев», сторонников кибернетики и т. д.

Пренебрегая дельцами и лакеями, В. Гроссман останавливается на человеке, который благополучно, заполняя анкетные графы, взбирается на высокий пост, освобожденный для него процессами 37-го года, расправами предыдущих лет.

Давненко укоренился в нашей жизни Дементий Трифонович Гетманов, не распознанный, между прочим, литературой, готовый иной раз выдать его за того самого «положительного героя», которого десятилетиями ищет та часть нашей критики, что, подобно кадровикам, ценит в герое анкетную непорочность и умение произносить слова, соответствующие эпохе.

Крымов и Мостовской тоже когда-то соответствовали своему времени. Но чем дальше, тем больших внутренних усилий это требовало от них. Дементий Трифонович соответствует своему времени органически, благо время соответствует ему.

Роман «Жизнь и судьба» немислим без Гетманова не только как непосредственного участника событий, но и как участника событий, совершающихся вроде бы помимо него. Начав карьеру личным охранником секретаря крайкома, Гетманов вскоре сам становится секретарем обкома, именно тем руководителем, какой нуждается в Сталине не меньше, чем Сталин нуждается в нем. Гетманов Сталину необходим так же, как люди из ведомства Ежова и Ягоды; неспроста Дементий Трифонович поначалу служит в органах госбезопасности.

Гетманова манили секреты карьерного преуспевания, им владел инстинкт власти, который следовало скрывать, не торопя время, но и не упуская момент. Умело устанавливать полезные связи, обходить «чужих», то есть анкетно замаранных.

Крымов хотел сохранить веру в святость своего дела и готов был на многое закрывать глаза. Гетманов свято верил только в Хозяина, с трезвой деловитостью угадывал его намерения, читая между строк с такой

же безошибочностью, с какой публично читал составленный помощником доклад. Текст доклада и написанное между строк необязательно совпадали. Но для Гетманова это не имело значения. Имела значение только провозглашенная или угадывавшаяся воля Хозяина.

Когда Гетманов по обыкновению поднимал первый тост «за нашего отца», он испытывал почти сыновние чувства, и неудивительно, что Сталин, вззирающий с портрета, казалось, говорил: «Вот, ребята, я раскурю трубочку и подсаду к вам поближе». Гетманов, слывший добрым отцом и мужем, охотно изменял своей Галине Терентьевне, но Сталину не только изменить не мог, даже не мог усомниться в его правоте, безоговорочно отождествляя Сталина с партией, а свою холопскую преданность — с высшей верностью генеральной линии. Он сам неукоснительно и повсеместно проводил эту линию и, не обладая ни талантом, ни культурой мышления, ни знаниями, поучал всех и каждого — слесаря, инженера, писателя, штабного офицера.

Назначенный комиссаром танкового корпуса, никогда не воевавший, Гетманов прежде всего наводит справки о командире корпуса, и самых скудных сведений ему достаточно, чтобы испытать неприязнь к полковнику Новикову. Он небезосновательно полагается на свой феноменальный нюх, даже гордится им.

Комиссар корпуса будет злорадно рассказывать о калмыках, якобы певших под немецкую дудку, и, торжествуя, вспомнит, как прежде «сигнализировал насчет Басангова», воспрепятствовал Новикову, пытавшемуся выдвинуть толкового командира: «Не подвело партийное чутье». Он как бы предчувствовал политическую неблагонадежность калмыков, относил ее к числу национальных особенностей, а то обстоятельство, что майор Басангов умело и отважно воевал, отбрасывается.

Удивительно, что подполковник Даренский, свободный от предрассудков и предубеждений, ни с того ни с сего поддакнул Гетманову. Хотя недавно ездил по Калмыкии, видел: комиссар несет не просто чушь, но чушь опасную.

Гетманов обладал притягательной силой, вызывал желание поддакивать. Умел выглядеть рубахой-парнем, подкупить панибратством. Это тоже своего рода искусство, необходимое руководителю вполне определенно склада.

Сохраняя свои индивидуальные черты и черточки, Гетманов вырастает в фигуру, которая олицетворяет касту, пришедшую к власти в середине 30-х годов. Наследники революционеров, нередко страдавших из-за раздвоенности сознания, вроде Крымова и Мостовского, они беспретно приняли двуличие как форму настолько уверенного существования, что не видели нужды рядиться в тогу революционеров, свободолюбцев и скромно именовали себя «слугами народа».

В Крымове жило свойственное русскому интеллигенту стремление к просветительству. Он любил читать лекции, произносить зажигательные речи, объяснять массам политические задачи. Объясняя, старался подавить собственные колебания.

Гетманову вообще чужды какие-либо колебания. Он постоянно навешивается в колхозы и на заводы, покоряет слушателей расспросами о зарплате, о тесноте в общежитии, демонстративно жестокими придирками к снабженцам. Но в служебном кабинете у него не говорили о порядке в общежитии и об озеленении цехов. Здесь утверждали жесткие производственные планы, добивались повышения выработки и розничных цен. Гетманов оставался самим собой и когда задушевно разговаривал с колхозниками, и когда срезал последние граммы с колхозных трудодней. Ни малейшего противоречия он не ощущал и не должен был ощущать: двуличие составляло его натуру, живые люди были безразличны.

Обостренно чуткий ко всему, что касалось собственного положения, личной власти со всеми надлежащими атрибутами, благополучия его семьи, он любил обильное застолье в компании равных, когда гордятся своей кастовостью, близостью к сильным мира сего, а заодно победами над женщинами. Когда крепится замкнутое номенклатурное братство и каждый с полуслова понимает другого, преисполненный чувства собственного государственного значения.

На посту комиссара корпуса Гетманов сохранил само собой разумеющийся двойной счет: это положено мне, это дозволено остальным. Ему непредосудительно завести «боевую подругу», но как смеет затеять роман с медсестрой командир бригады Белов? Однако фронт все-таки меняет привычную для Гетманова ситуацию. Его власть ограничена властью командира корпуса; за командиром остается последнее слово. Боевой успех корпуса, а следовательно, репутация командования, зависит не от пустых речей Гетманова, но от приказа, отданного Новиковым. Однако комиссар находит выход. Он ведь свойский мужик, друг и брат Новикова, который впрямь вызывает у него уважение. Подумать только: Новиков, не поддавшись нажиму сверху, на восемь минут задержал ввод танков в действие и тем самым максимально обеспечил удачу! Бил звездный час Новикова, и растроганный Гетманов всхлипнул и громко сказал:

«— Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо. Спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон и спасибо».

А вечером отправил наверх письмо: командир корпуса самолично задержал начало решающей операции исторического сражения.

Это прямо-таки ошеломляет. Но почему, собственно? Разве во всем, что делал Гетманов в своем обкоме, потом в танковом корпусе, он на миг переставал быть двоедушным? Разве только Гетманова отличает двуличие? Разве ответственный работник Сагайдак не начал свою карьеру, когда редактировал газету и умалчивал — из соображений высшей целесообразности — горькую правду? Он знал, как сохли, как пухли от голода дети в деревнях, но помещал статьи о колхозных яслях, где ребятишек кормят куриным бульоном и пирожками.

Если бы в академике Шишакове, его сподвижниках по институту Дубенкове и Ковченко не сидел Гетманов, сумели бы они на сто восемь-

десять градусов изменить свое мнение о научном открытии лишь потому, что Штруму позвонил Сталин?

Людей беспринципных хватало во все времена. Особенно среди рвущихся к власти. Но когда беспринципность и двуличие вошли в число первых условий для достижения руководящего поста, это тяжело отразилось на экономике, культуре, на вооруженных силах, сковало человеческие умы.

Таким образом был преподнесен подарок Гитлеру, тоже, кстати заметить, сильно понизившему моральный и интеллектуальный уровень немецкого народа, освободив его, как он утверждал, от химеры, именуемой совестью. Для черного дела, на какое подвинул Гитлер немцев, и нужно было избавить их от совести, нейтрализовать ее воздействие. Но выяснилось, что на руку Гитлеру сыграло и ослабление моральных критериев и по другую сторону линии фронта.

Их ослабление неизбежно, когда человеческая жизнь запросто превращается в лагерную пыль. Услышь Гетманов, что люди и есть главная ценность, он бы только усмехнулся про себя. Ему и в голову не приходило, что Ленин, говоря о потерях, понесенных в гражданской войне, на первое место ставил главную ценность, которой мы лишились в невероятно большом масштабе, — человеческие жизни.

Сталин, без всякой войны посылая на гибель сотни тысяч, подготовил легкое отношение к человеческой смерти на фронте. О неоправданных подчас жертвах с болью сказано у В. Гроссмана.

Слов нет, Гетманов хотел победы своей стране. Но не оборачивалась ли его деятельность временами невольным подспорьем врагу? Я имею в виду не только разлагающее влияние цинизма, который порождает Гетманов, его всесторонне некомпетентное руководство. Не без содействия Гетманова полковник Новиков был снят с командования и отозван в Москву (он же успел подкинуть «матерьяльчик» и на Крымова). Даже если справедливы сведения о письме Гетманова в высшие инстанции, где Новиков аттестовался как командир безупречный в политическом и моральном отношении, дело не меняется. Гетманов способен и на такое письмо, и на доносы. Сработает ли письмо — бабушка надвое сказала, зато доносы уже сработали.

Трудно предугадать судьбы оставшихся в живых героев романа. Но у Гетманова все будет в лучшем виде. Ко времени его ухода на заслуженный отдых подрастет достойная смена, и мы поныне нет-нет да встречаем гетмановских наследников.

Кое-кто пойдет дальше предтечи, дальше портретов Хозяина на ветровом стекле. Взыскав «твердой руки», вспомнит идейки «Майн кампф», процитирует — без кавычек, разумеется, — гитлеровские листовки, сброшенные когда-то на Сталинград, прикинет, как бы выглядел в роли гауляйлера.

В. Гроссман обнажил многоликость, многовариантность фашизма. Время показало его живучесть. Нам определять степень опасности комплекса несостоявшегося гауляйлера или полиция.

С Мостовским оберштурмбанфюрер Лисс так и не нашел общего языка, а с Гетмановым, не читавшим Гегеля, — глядишь, поняли бы друг друга. Их сблизили бы циничное презрение к свободе и правде, вера в насилие и крепкий кулак, склонность к коварной игре на националистических струнах.

Линия, которую десятилетиями гнул Гетманов, к добру не ведет. Грязные лапы малюют свастику на воинских надгробиях, мародеры роются в могилах павших, внук меняет боевой орден деда на поллитровку; не нюхавший пороха, травмированный стойкой своей непопулярностью стихотворец поясняет, что молодые поэты, отдавшие жизнь за Родину, преследовали не те цели, какие надлежало, по его разумению.

Впрочем, разве только молодые поэты?.. Батальон Филяшкина в романе «За правое дело» и гарнизон Грекова в романе «Жизнь и судьба» сложили головы не за гетмановские цели. Но их гибелью частенько пользовались Гетманов, его последыши. Гетмановское двоедушие нередко отравляло воздух и сознание.

Роман об одной из величайших битв в истории, о нераздельности бытия и смерти, о судьбах государства и личности вряд ли вероятен без философской идеи, пронизывающей его, сообщающей ему внутреннее единство. Но, формулируя ее, рискуешь прочертить прямую линию; она не передаст многообразие мыслей, бесконечные их оттенки и грани, многомерность характеров, безотчетно выражающих философию писателя.

В романе есть главка — менее полустраницы текста, — где изложено то, что я бы решил назвать авторским кредо. Она предшествует главе, где рассказывается, как попавшему в плен водителю Семенову удалось полумертвым добраться до деревни и его выходила сердобольная Христя Чуняк.

Благодаря деревенской старухе, рисковавшей головой, Семенов сохранил жизнь. А жизнь, сказано в короткой главке, — это свобода. «...Умирание есть постепенное уничтожение свободы: сперва ослабляется сознание, затем оно меркнет; процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжают, совершаются кровообращение, дыхание, обмен веществ. Но это неотвратимое отступление в сторону рабства — сознание угасло, огонь свободы угас... Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть. Эта Вселенная паразитально походила на ту, единственную, что существует помимо людей... В ее неповторимости, в ее единственности душа отдельной жизни — свобода. Отражение Вселенной в сознании человека составляет основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторяемый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе».

Для В. Гроссмана смерть человека — переход из мира свободы в царство рабства. Так расположены полюса: и движение от одного к другому, несмотря на фатальную неизбежность конца, не обязательно

означает превращение человека в раба. Доживающая тяжкий век Христа Чуняк не стала рабыней.

Когда В. Гроссман назвал повесть сорок второго года «Народ бес-смертен», он утверждал победу людей над рабством, смертью, победоу, добытую ценой собственной гибели. В такой борьбе человек может оказаться сильнее и мудрее государства. Старая Христя отличала хороших немцев, добрых от убийц и садистов, лютовавших вместе с деревенскими полициями. Она, спасая «акающего» москвича Семенова, помнила и других «акающих». Те приехали в 1930 году в гибнущую от голода украинскую деревню, спокойно, без жалости смотрели, как умирают женщины, дети, как перестал дышать Василий, муж Христы.

Для Христы Чуняк существовал человек, а уж где-то потом его место в государстве, профессия, национальность, домашний адрес. Но не стоит считать, будто праведность — привилегия малограмотных. Соседи Христы Чуняк не захотели помочь валившемуся с ног беглецу из плена. Зато Александра Владимировна Шапошникова, верная неписаному кодексу русской интеллигенции, наверняка пришла бы на помощь. Она такой же народ, как старая Христя, как офицеры Новиков, Даренский, Бова, директор сталинградской электростанции Спиридонов. Выходя на первый план, они убеждают нас в бесконечном многообразии мнений, оценок, решений, в тщетности попыток приведения народа к единомыслию.

Именно в Сталинграде, утверждает В. Гроссман, достигшая своего пика война обозначила водораздел между исконными стремлениями сражающегося народа и намерениями государства.

«Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода».

Вслушиваясь в разговоры героев, ведущиеся на протяжении романа, мы нередко ловим отголоски такого спора. Сама логика событий, переданных в романе, подводит нас к сокровенным народным чаяниям: коль война — эта великая беда — сделалась неизбежной, так пускай кровь, что льется рекой, сметет гитлеровскую заразу, а вместе с тем очистит нашу жизнь от уродливых перекосов, насилия, лжи, выдаваемой за правду.

В. Гроссман первым среди писателей постиг эту непростую логику и приобщил к ней нас, нынешних читателей.

Капитан Греков признается Крымову, что хочет свободы и за нее воюет. Но Крымову свобода не нужна, ему нужно справиться с немцами и восстановить «всеобщую принудилровку».

Политрук Сошкин, вернувшийся из дома «шесть дробь один», донельзя возмущен: не воинское подразделение там, а какая-то Парижская коммуна, солдаты величают капитана Ваней, обращаются к нему на «ты», и он с ними, как ровня.

Насчет Парижской коммуны политрук схватил, пожалуй, довольно верно. Повиновению, которое держится на страхе и на субординации, Греков предпочитал дисциплину, основанную на уважении к командиру. Греков живет единой с бойцами жизнью, не реже, чем они, подставляет

голову под пули, не позволяет себе никаких поблажек. Сам, вероятно, о том не думая, он придерживался принципов, на каких поначалу строилась Красная Армия, победившая в неравных боях гражданской войны.

Как раз во время Сталинградского сражения эти принципы были наиболее явно отринуты, дисциплина ужесточалась, субординация абсолютизировалась: в самом начале 1943 года ввели погоны. Интендантское ведомство спешно шило гимнастерки и кителя, копируя форму старой армии. Сперва даже забыли о нагрудном кармане в солдатской рубашке, и бойцы не знали, куда класть партбилет... Шустрый журналист, порывшись в пыльных подшивках, строчил для «Красной звезды» «подвалы» о традициях дореволюционного офицерства, о великолепии офицерских собраний, о ритуале встречи высоких особ...

Греков не принадлежал ни к революционным романтикам, ни к догматикам. Он видел катастрофичность ситуации, и ему было не до дискуссий о дисциплине и традициях. Но он понимал также, почему дело приняло такой оборот, понимал, что политика «завинчивания гаек», набирая инерцию, обернется новым насилием в послевоенные годы. Против этого он восставал, на примере своего дома доказывая, что можно успешно сражаться и по-другому.

Дом «шесть дробь один» представляет собой, если воспользоваться языком современной публицистики, альтернативный вариант, то есть вариант, отличный от другого, в данном случае официально узаконенного. У грековского варианта нет шансов на признание, у гарнизона нет шансов на спасение. Сознывая это, Греков отправит из «своего» дома Сережу Шапошникова и радистку Катю Венгрову. Он сам «положил глаз» на Катю, но едва почувствовал: перед ним молодая любовь, вспыхнувшая среди дымящихся развалин, солдатского мата, вшей, — отступил.

Атмосфера в маленьком гарнизоне Грекова такая же, как и в других сталинградских гарнизонах. И вместе с тем чем-то отличная. Солдаты безбоязненно говорят, что думают, смеются, когда смешно, и над теми, кто им смешон. Даже если у него «шпалы» в петлицах. Не нужны им унылые наставления, проповеди, казенный порядок. Греков отказывается писать отчеты. Люди не желают жить с оглядкой, рассуждать, как предписано, отвлекаться на зряшные дела, когда надо бить фашистов. Бить, не жалея себя, зная, что живым из осажденного дома им не выбраться. Но свои последние дни все они хотят прожить свободными людьми и умереть свободными.

Порядки, возобладавшие в доме Грекова, противостоят порядкам, которые привели к голоду 30-х годов, к невинным жертвам, расчистившим дорогу Гетмановым, и следовательно, перекрывшим дорогу капитану Грекову, майору Ершову, затруднившим путь полковника Новикова, научные поиски Штрума, работу Спиридонова. Напрасно, утешая себя, мы полагаем все свершившееся исторической неизбежностью. Если революция выражала волю народа — а иначе бы ей не одержать верх, — то крестьянство по доброй воле, не отделяя своего интереса от интересов революции, избрало бы наиболее разумную форму кооперирования, и Крымова в доме «шесть дробь один» не ошарашили бы вопросом:

нельзя ликвидировать после войны колхозы? Да и так называемая «Русская освободительная армия» Власова была бы гораздо малочисленнее. Или вообще ее бы не было. Как не было в истории случая, чтобы русские формирования сражались вместе с чужеземными захватчиками.

Роман В. Гроссмана заставляет задуматься: не слишком ли высокомерно, равнодушно наше обычное «если бы да кабы...». Разве не реальна возможность для Новикова командовать корпусом, не чувствуя постоянно на себе хитровато-недоверчивый прищур Гетманова? Разве Греков нуждается в опекунах и ревизорах? Разве майор Ершов не был бы наиболее подходящим руководителем лагерного подполья? Разве страна выигрывает, когда истинный ученый академик Чепыжин уступает директорское кресло в институте беспринципному ничтожеству академику Шишакову?..

Но даже если бы люди типа Новикова, Грекова, Ершова находились на командных вышках, перед страной возникло бы немало сложностей, трудных задач. Только можно поручиться: коль Гитлер и напал на нашу страну, армии Паулюса не видать волжского берега как своих ушей.

Никому на свете не приходило в голову, что спустя десятилетия после войны, когда над миром вспыхнет зарево Чернобыля, выяснится, насколько продуктивен, спасителен порядок, господствовавший в сталинградском доме «шесть дробь один». Академик Е. Велихов скажет, как развалилась система руководства, построенная на приказах, спускаемых сверху вниз, и на безропотном исполнительстве. Зато возобладала система, когда солдат давал совет генералу, а генерал делил с ним тяготы.

Осуществив вольнолюбивый идеал, который под впечатлением романа «Жизнь и судьба» связывается с именем капитана Грекова, мы бы знать не знали многих бед и позорных недугов, избежали бы напрасных жертв. Гетмановых забыли бы как дурной сон. А лучше, если б они сохранились в памяти суровым предостережением.

Разговоры о том, что, мол, предстояло еще созревать до грековского идеала, на мой взгляд, оскорбительны для павших в боях. Вести их может лишь тот, кто героические свершения народа приписывает «мудрым водителям», демонстрировавшим недостаток человеческой мудрости, политической дальновидности, шаткость нравственных опор и бюрократическую веру в социализм, построенный соответственно директивным распоряжениям.

Роман В. Гроссмана — роман о великой силе народа, одолевшего законанный в крупповскую сталь вермахт. Но победу разделил с государством, далеко не всегда желавшим знать, что народ жив не хлебом единым. Сражаясь за Сталинград, он сражался и за свободу. В этом городе, по словам В. Гроссмана, была заключена душа войны. «Его душой была свобода».

Даже среди немцев — тех, чьи головы не окончательно отравлены ядом нацизма, тех, кто не оглох от победной дроби барабанов, — начался процесс, который В. Гроссман называет очеловечением после десятилетия тотальной бесчеловечности.

Писатель, глянув на карту, заглянув в кабинеты правительственных лидеров и в парламентские залы, возвращается в город на Волге. Вчерашняя столица мировой войны отступает в историю, превращается в областной центр с заводами, школами, родильными домами, театром, тюрьмой. Вчерашнее возбуждение сменяется непередаваемым чувством счастья и — пустоты. Это чувство бессмысленное: откуда взяться пустоте, тоске, если побоище завершилось победой и смерти нет. «Но так было».

Не потому ли, что люди ощутили: Сталинград потерял свою вольнолюбивую душу. Подтверждая эту утрату, через десять лет тысячные полчища заключенных возведут здесь одну из величайших на планете гидроэлектростанций. В. Гроссман уточняет: государственную гидроэлектростанцию. Государство укрепляло свою мощь трудом эзков, среди которых было немало вчерашних солдат.

Это они, солдаты, упрямо повторяет В. Гроссман, приближаясь к финалу, своими руками добыли победу. Ради женщин с потрескавшимися от ледяной воды руками, стариков, детей, обмотанных рваными материнскими платками, шли на смерть бойцы. Шли, доказывая, что бессмертие надо завоевывать.

...Искусство творят не ради подтверждения истин, пусть и вечных. Искусству самому надо совершать открытие новых истин, озарять их светом художественной правды. В таких открытиях тоже бессмертие народа, его негасимый порыв к свободе.

1988.

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Факты обладают свойством обрастать легендами. Может быть, потому, что легенда куда больше, нежели факт, способна удовлетворить людскую жажду возвышенного? Легенды, с юных лет пленившие наше воображение — без них жизнь была бы во сто крат беднее и бледнее, — нередко берут свое начало от забытых случаев, эпизодов, событий, происшедших в незапамятные времена.

И все-таки, бывает, потребность в легенде вступает в противоречие с другой потребностью — в «черном хлебе» фактов. Нередко исторический факт — пусть голый и неприязательный — дороже, нужнее, чем великолепная сказка, в какую он вырос. Это в тех, видно, случаях, когда за реальным фактом — реальность народной судьбы. Тут уже не соглашаешься не только на вымысел — на малейшую недостоверность, тут нужна правда, одна правда.

Нынешний интерес к документальным свидетельствам, прежде всего о военных годах и невзгодах, о ветеранах и героях нашей армии, идет от характерного для наших дней неослабевающего желания испытать «из реки по имени факт». Этот интерес обострился тогда же, когда после XX съезда партии началось возвращение к ленинским нормам и к справедливости там, где они нарушались.

Восстановление забытых имен и подвигов, предпринятое историками, мемуаристами, писателями, оказалось делом нелегким. Трудности возникали на каждом шагу: недостаток материалов, нехватка свидетелей и свидетелей, архивные лабиринты. А несовершенство человеческой памяти, ее способность — без малейших дурных намерений — выдавать вероятное за действительное, приблизительное за точное? И препятствия другого рода: сопротивление несогласных с восстановлением исторической истины во всей ее полноте.

Вспомним, какие баталии развернулись недавно вокруг имени героя гражданской войны, командира Сводного конного корпуса Бориса Думенко¹. Даже то бесспорное обстоятельство, что Главная военная прокуратура и Военная коллегия Верховного Суда СССР сняли с него клеветнические обвинения (какую же гигантскую работу для этого пришлось проделать — комкор по обыкновению оговору был расстрелян в 1920 году!), что его реабилитировали как командира Красной Армии, посмертно восстановили в Коммунистической партии, не убедило несогласных. Не убедили их и высокие награды, каких некогда удостоивался отважный комкор.

В интереснейшем документальном повествовании Ю. Трифонова «Отблеск костра» («Знамя», № 3, 1965) были сказаны справедливые слова о Б. Думенко. Впервые, пожалуй, наша литература вспомнила о человеке, который был организатором и командиром первых частей и соединений Красной конницы.

Ю. Трифонов старается понять, как же так получилось, что комкор, пятый по счету в стране получивший орден Красного Знамени, стал трагической жертвой клеветы. Не все и сейчас ясно в этой запутанной истории. Вдумчиво изучая документы, пристально всматриваясь в далекие фигуры, боясь упрощений и предвзятости, Трифонов говорит о резкости Думенко, о крутом его нраве, о нетерпимости к трусам и карьеристам. Такие люди, как известно, умеют наживать врагов, и врагов достаточно ловких, не останавливающихся ни перед чем. А тут еще таинственное убийство комиссара Микеладзе. И хотя все знали о теплой дружбе комкора с комиссаром, подозрение пало на Думенко.

Суд был быстрый и неправый. Бориса Думенко приговорили к смертной казни. Хвост клеветы тянулся за ним десятилетиями.

Случай с Думенко не единичен. Известно, скажем, имя Андрея Евгеньевича Снесарева, крупного военачальника, военного писателя и ученого, добровольно вступившего в Красную Армию, верой и правдой служившего ей до конца своих дней. А. Е. Снесарев, пользовавшийся доверием В. И. Ленина, уважением командиров Красной Армии, был одним из первых — в знак признания выдающихся заслуг — удостоен зва-

¹ См. «Военно-исторический журнал» № 12 за 1964 год — письмо старшего научного сотрудника Центрального государственного архива Советской Армии Т. А. Иллерицкой «Пора восстановить истину»: «Неделю» № 8 за 1965 год — статья полковника В. Поликарпова «Комкор возвращается в строй»; «Военно-исторический журнал» № 9 за 1965 год — обзор писем «О командире Сводного конного корпуса Б. М. Думенко».

ния Героя Труда. Все это зачеркнули арест в 1930 году, нелепое обвинение в участии в монархической офицерской организации. На страницах романов, исторических монографий замелькало: «сомнительный военспец», «приспособленец», «вредитель» Снесарев. В подобном примерном качестве выступает он в «Хлебе» Алексея Толстого — книге, историческая несостоятельность которой бросается сегодня в глаза. Дань этому заблуждению отдал, к сожалению, и Всеволод Иванов в своем романе «Пархоменко»¹.

Можно, конечно, сказать: писатель не исследователь, не его дело заниматься поисками и разысканиями. Нет! Писатель, пишущий на исторические темы, так же отвечает за правду прошлого, как пишущий на современные темы — за правду сегодняшнего дня.

И тут вновь надо подчеркнуть значение точных исторических фактов, недопустимость смещения истории и легенды.

По каким только поводам не повторялись слова о том, что славный праздник Красной Армии — 23 февраля — учрежден в ознаменование победы, одержанной в этот день в 1918 году над немецкими полками под Псковом и Нарвой. Так было в свое время сказано в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в одном из военных приказов И. В. Сталина, в многочисленных статьях и брошюрах.

Но вот автор «Порт-Артура» А. Н. Степанов в свое время решил порыться в архивах, проверить, как это было. И выяснил, что 23 февраля 1918 года под Нарвой и Псковом вообще никаких боев не происходило. Он написал письмо И. В. Сталину, письмо переадресовали в секретариат главной редакции «Истории гражданской войны в СССР». Генерал-майор запаса, доктор исторических наук С. Найда, заведовавший тогда секретариатом, вспоминает этот случай в своей статье «Почему день Советской Армии и Военно-Морского Флота празднуется 23 февраля?»². С. Найда приводит многочисленные документы, подтверждающие правомерность сомнений А. Степанова. В те дни если и велись бои на Северном фронте, то не 23-го и не под Псковом, да и с неблагоприятным для нас исходом. 26 февраля 1918 года «Правда» написала, что вечером 24 февраля немцы взяли Псков. 27 и 28 февраля сообщалось: «Псков был занят небольшими силами немцев, город удалось бы отстоять, если бы было оказано сопротивление».

С. Найда прослеживает перипетии обстановки под Нарвой и Псковом, анализирует сводки и приходит к выводу: «23 февраля 1918 года никаких боев под Псковом, а тем более под Нарвой не было».

Так почему же все-таки днем Красной Армии стало 23 февраля?

«В 1918 году, — пишет С. Найда, — в этот день произошел ряд важных политических событий». Он перечисляет эти события, проходившие под лозунгом ленинского декрета «Социалистическое Отечество

¹ На искажение образа Снесарева в романах «Хлеб» и «Пархоменко» указывают, в частности, В. Дудник и Д. Смирнов, авторы статьи о А. Е. Снесареве «Вся жизнь — науке» («Военно-исторический журнал», № 2, 1965).

² «Военно-исторический журнал» № 5, 1964.

в опасности!». Декрет был подписан 21 февраля, опубликован 22-го вместе со специальными статьями в «Правде», «Известиях ВЦИК» и в других газетах. Народ бурно поднимался на защиту страны и революции. В Петрограде, Москве и в других городах комплектовались первые отряды Красной Армии, вокруг Питера строились укрепления, приводились в боевую готовность форты и корабли Балтийского флота.

Долгое время легенда о боях под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года заслоняла действительные обстоятельства, в которых рождалась Красная Армия, и роль, которую играл в этом В. И. Ленин¹.

Между тем стоило вернуться к фактам — и все становилось на свои места. В воспоминаниях старого большевика В. П. Затонского рассказывается о том, как был подписан долго не дававшийся коллегии Наркомвоенна декрет о преобразовании Красной гвардии в Красную Армию.

«За это дело взялся тогда сам Ильич. Он заявил, что не закроет собрания (Совнаркома. — В. К.), пока этот декрет не будет принят, вооружился пером и начал тут же выправлять декрет, вычеркивать целые параграфы, изменяя редакцию, внося существенные изменения. Эта работа заняла, вероятно, около часа времени (Точно по часам не следил, но непосредственное ощущение было таково, что промаялись долго; обычно декреты проходили гораздо быстрее).

Наконец декрет был готов и принят единогласно (кажется, даже без голосования)...»².

После 1955 года в официальных изданиях слова о победе 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой уже не повторяются. В новом учебнике истории КПСС в полном согласии с исторической истиной сказано: «Дни мобилизации революционных сил народа и героической защиты Красной Армии завоеваний Октябрьской социалистической революции от нашествия полчищ германского империализма стали днями рождения Красной Армии. В память об этом великом подвиге Вооруженных Сил советского народа 23 февраля ежегодно отмечается в Советской стране как День Красной Армии»³.

Говоря о том, как легенда порою теснит факты, можно было бы сослаться и на другой, более частный пример. В книгах, в статьях, в поэмах, на киноэкране и по сей день мелькает привычное словосочетание «залп «Авроры».

А между тем залпа не было. Был один-единственный холостой выстрел. В ответ на него буржуазная пресса подняла крик о залпе пушек революционного корабля, якобы повредившем исторические ценности Зимнего дворца. Эта клевета вызвала негодование матросов «Авроры»,

¹ Напомним, что в 1947 году было обнародовано письмо И. В. Сталина военному историку полковнику Е. Разину, в котором утверждалось, что Ленин не был знатоком военного дела, не занимался военными вопросами, а поручал это «молодым товарищам из ЦК».

² В. Затонский. На заре Красной Армии. В сборнике «Этапы большого пути». М. 1962.

³ «История Коммунистической партии Советского Союза». Изд. 2-е, М. 1962, стр. 270.

написавших гневное письмо в «Правду». И «Правда» 27 октября 1917 года в № 170 опубликовала его. Вот текст этого письма:

«Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера «Аврора», которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.

Печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности. Просим все редакции перепечатать.

Председатель судебного комитета

А. Бельшев

Тов/арищ/ председателя П. Андреев

Секретарь /подпись/¹.

Простой и точный факт не приносит нам разочарования. Разве это письмо меньше говорит о мужестве и гуманности солдат революции, моряков «Авроры», чем хрестоматийная легенда о «залпе»?

В последних книгах о войне, воинском подвиге с наибольшей, пожалуй, определенностью выказало себя нежелание литературы мириться с искажением событий, умалчиванием, забвением имен и фактов. Это и понятно. Слишком многое стоит у народа и у каждого из нас за так называемой военной темой.

Достаточно упомянуть о писательском, а следовательно, и гражданском подвиге С. С. Смирнова, вернувшего родине десятки имен ее героев, восстановившего эпопею Бреста.

В свой поиск С. С. Смирнов и многие другие писатели-документалисты отправились в середине пятидесятых годов. Этот же рубеж знаменовал второе рождение советской военной мемуаристики (первое состоялось в первые годы революции).

Минувшее десятилетие не прошло напрасно. Нам, современникам, трудно даже взвесить вклад мемуаристов, писателей, историков в создаваемую ныне летопись Великой Отечественной войны. Вот пример, дающий кое-какое представление о расстоянии, пройденном за последние годы. Вскоре после войны был издан помпезный том «Штурм

¹ Цитируется по книге «Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции». М.—Л. 1957, стр. 293—294.

Берлина», составленный из воспоминаний, писем, дневников участников боев за германскую столицу. Его открывала статья о финальном сражении, где неоднократно упоминается единственная фамилия с неперменным предварением «великий». Неизвестно, кто командовал фронтами и армиями, кто вел дивизии и полки, кто разрабатывал планы и кто шел под огнем, падал на брусчатку. Одно лишь единственное имя. Сейчас в это трудно поверить, это кажется невозможным.

На наших глазах мемуарная и документальная литература завоевала признание, популярность. Щедрый выпуск воспоминаний, документальных книг, неослабевающая читательская тяга к ним — одно из проявлений роста общественного сознания и возмужания народной памяти.

Еще не наступил час подводить итоги и делать заключения. Мемуарно-документальный поток нарастает. От явлений очевидных, доступных всеобщему обозрению — к менее заметным, но не менее значительным, к углубленному осмыслению планов и операций, к более основательному и доказательному опровержению тенденциозных западно-германских истолкователей, а подчас фальсификаторов хода войны. И первейшее условие этого — верность фактам, точность цифр и сведений, неопровержимость свидетельств. Если оно нарушено, воспоминания теряют смысл, их автор — доверие.

Споры вокруг больших оперативно-стратегических проблем и крупных исторических событий не должны заслонять рядового солдата. О нем хоть и много сказано, да далеко не все. Хоть и много названо имен, восстановлено подвигов, подробностей, однако и здесь еще дел непочатый край для всех вспоминающих войну, в первую голову для писателей-фронтовиков. Трудности при этом возникают порой самые неожиданные.

Василий Субботин (прежде чем стать писателем, он дошел со своей 150-й Идрицкой стрелковой дивизией до самого Берлина и в числе первых вбежал по засыпанным штукатуркой ступеням рейхстага) рассказывал как-то о таком случае. Когда он в застольной беседе с однополчанами вспоминал штурм рейхстага, кто-то назвал сержанта Иванова. Субботин насторожился. Он хранил свои фронтовые блокноты, знал, казалось, имена всех участников штурма, но о сержанте Иванове слышал впервые. Друзья, однако, единодушно уверяли: Иванов был с ними — «такой здоровенный, косая сажень...».

Субботин взял на заметку новую фамилию, стал проверять себя по документам, но в списках батальона сержант не значился. И тогда Субботина осенило — это был Иванов из фильма «Падение Берлина». Ребята приучили себя к нему, «включили» в штурмовую группу, стали называть, делась воспоминаниями.

А об одном из действительных героев — Петре Пятницком, погибшем с красным флагом на подступах к рейхстагу, — забыли в горячке боя, и он числился в «пропавших без вести». Так бы и выветрилось из памяти славное имя, не назови его В. Субботин на страницах «Правды» и журнала «Новый мир», не напиши о его подвиге. Теперь же с сознанием восторжествовавшей справедливости мы читаем в «Истории Великой

Отечественной войны»: «Здесь взвился флаг воина I-го батальона 756-го стрелкового полка младшего сержанта Петра Пятницкого, сраженного вражеской пулей на ступеньках здания. Флаг воина-героя был подхвачен младшим сержантом П. Д. Щербиной и установлен на одной из колонн главного входа»¹.

Никого не запамätовать, отвоевать у забвения «безымянных» — вот одна из важнейших задач для каждого, всерьез взявшегося за восстановление картин минувшей войны. Эта сложная, кропотливая работа минутами сопряжена не только с неожиданными препятствиями, но и с непредвиденными неприятностями (так, поначалу однополчане рассердились на Василия Субботина, доказывавшего им, что Иванов — герой кинофильма, а не боя за рейхстаг; легенда стала для них былью, и они не желали от нее отказываться). Но без такой работы остались бы в неизвестности защитники Бреста, участники многих подпольных организаций, действовавших в фашистском тылу, десятки, сотни имен, не зная которые не имеют права современники и потомки. Подобных имен было бы гораздо больше, начини мы вспоминать и называть их не спустя десять — двенадцать лет после войны, а еще в ходе ее, вслед за последними ее раскатами. Время действует неотвратимо: слабеет память, гибнут документы, умирают свидетели.

В последней книге Василия Субботина «Как кончаются войны» (Военное издательство, 1965) есть такая фраза: «Если бы каждый рассказывал о своих товарищах, не было бы без вести пропавших». Это благо и благородное пожелание. Сам В. Субботин, который руководствуется им в своей работе, понимает, сколь трудно его осуществить:

«Странно сужен круг людей, бравших рейхстаг...

Не знаю, отчего это? Не потому ли, что и это характеризует целый период нашей истории. Известно, как было в то сложное время, — бралось одно имя, одна какая-нибудь фигура, и за ее спиной похоронено очень много безымянных. Последние годы мы уже многое исправили, и все же от юбилея к юбилею, от годовщины к годовщине рассказываем об одних и тех же людях. Инерция! Так создается впечатление, что рейхстаг — если уж говорить о рейхстаге — взяли несколько человек.

Какая неправда!

Так уж привыкли при Сталине — все, и великое и малое сводилось к двум, к трем именам».

Привыкли мы, мы сами. Поэтому не каждый рассказывал о своих товарищах и не каждого готовы были слушать, поэтому нередко довольствовались считанными именами, становившимися юбилейно привычными.

Слова о массовом героизме не мешали канонизировать единичных, преимущественно погибших героев и сбрасывать со счетов остальных. Это было недоверием — не всегда и не всеми осознанным — к нашим людям. Оно укоренялось в сознании, вело мысль в соответствующем направлении и соответственно «укорачивало» память.

¹ «История Великой Отечественной войны», т. 5, стр. 283.

По дурной какой-то привычке нам нередко думалось: не вся и не всякая правда о войне в строку вяжется. Есть правда нужная и ненужная, типичная и нетипичная, большая и малая, масштабная и немасштабная... Но вот в 1965 году было впервые опубликовано письмо В. И. Ленина, где с беспощадной определенностью и ясностью сказано: «Нам нужна полная и правдивая (подчеркнуто В. И. Лениным.— В. К.) информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»¹.

Мы свято чтим имя и подвиг гвардии рядового Александра Матросова, грудью своей закрывшего амбразуру вражеского дзота. Но знаем ли мы имена других воинов, совершивших такой же точно подвиг самопожертвования? А ведь их, как выяснилось в дни двадцатилетия победы, было около двухсот, и трое из них — А. А. Удодов, Т. Х. Райз и В. П. Майборский — чудом остались живы и здравствуют поныне...

Традиционность восприятия и мышления обладает цепкой, властной, нелегко одолеваемой силой. Раз за разом повторяемая версия заключительного боя войны, два-три имени, с которыми связывался этот бой, настолько вошли в наше сознание, что новые фамилии, эпизоды, подробности, какие приводит В. Субботин, доходят до нас, словно пробивая какую-то невидимую стенку, преодолевая наше нежелание принять новые сведения. В. Субботин это понимал, чувствовал. Он писал с такой же тщательностью, с какой восстанавливал в памяти подробности. И с таким же к ним вниманием, понимая, сколь нелегко прорвать кольцо устоявшегося предубеждения. Поэтому он собран и настойчив. Такова же и его проза.

В. Субботин предпочитает короткие — две-три-четыре странички — новеллы, насыщенные эмоционально не меньше, чем лирическое стихотворение. Он не пользуется архивными документами, отдавая предпочтение собственному блокноту, обращаясь к товарищам как к свидетелям и соучастникам. Но и с ними ему порой приходится polemизировать, возвращая их к подлинным фактам и заставляя расстаться с уже ставшими привычными, узаконенными традицией легендами.

Многие из своих рассказов В. Субботин снабдил примечаниями, да же не совсем и не всегда примечаниями; скорее это продолжение рассказа, или его предыстория, или объяснение причин, побудивших написать его. Нередко тут излагается легенда, подлежащая опровержению.

В. Субботин говорит о фронтовых снимках-инсценировках, снимках-подделках, обошедших газеты и журналы и ставших как бы документами. Случалось, что легкомыслие, недобросовестность или халтура, размноженные ротационными машинами в тысячах и тысячах экземпляров, делались ни более ни менее как печатным свидетельством. Мелькали перепутанные фамилии и звания, гвардейские усы, которыми гордый на выдумку автор украшал своих героев, звучали сугубо солдатские остроты и афоризмы «на манер Суворова».

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446.

Впрочем, бывали и «хорошие легенды». Одну из них — о доме Павлова и о самом Павлове — с чьих-то слов приводит В. Субботин. Сержант Павлов, защищавший знаменитый дом в Сталинграде, дошел до Берлина, так, мол, и не получив награды. А тут генерал обходит строй и видит солдата без орденов и медалей, с четырьмя нашивками за ранения.

«— Твоя фамилия как? — спрашивает.

— Павлов, товарищ генерал.

— ...Это не ты дом Павлова защищал? — смеется генерал...

— Так точно... Это я».

Измученный генерал снял Золотую Звезду со своего кителя и прикрутил на гимнастерку сержанта.

В. Субботин оговаривает: так ли было или нет — он не знает, сам не видел. Скорее всего легенда.

Можно добавить: бродячая легенда. В других вариантах, с иными именами она ходила по блиндажам и землянкам. Командир нашей 140-й Сибирской дивизии генерал Александр Яковлевич Киселев незадолго до своей гибели рассказывал ее в назидание нам, молодым офицерам. Однако в ней действовал уже сам Суворов. Это он снимал со своей груди орден и со словами: «Матушка-императрица мне не откажет» — вешал на мощную грудь ветерана-гренадера.

Существует фронтовой фольклор, солдатский эпос, в котором был перемешан с небывицами. И когда писатель спустя годы отправляется в путешествие по военному прошлому, он обязательно встречается со множеством легенд и преданий. Грех было бы пренебрежительно отмахиваться от фольклора. Надо лишь не терять из виду главный принцип реалистической (а документальной — в особенности) литературы: верность действительности, отчетливое отделение бывшего от вымышленного. Легенды легендами, факты фактами.

Так, собственно, и поступает В. Субботин, поэтому новелла «Дом Павлова» несколько не лишняя в его книге. От фольклорного рассказа он переходит к описанию настоящего дома Павлова, того, что стоит поныне на волгоградской улице. Ему приходит мысль, близкая каждому фронтовику: а следовало ли обновлять, штукатурить и белить этот дом, прошитый снарядами, просверленный пулями и осколками, убирать развалины на привокзальной площади, сваленные и лежавшие там крест-накрест мраморные колонны? Может, надо было сберечь в неприкосновенном виде эти истинные реликвии войны? Пусть бы и стояли так нерушимым памятником Павлову и славным бойцам 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

В. Субботин бережлив и внимателен к деталям, подробностям. Он скрупулезно описывает внешность солдата, или стену, через которую предстояло перелезть, или ящик из-под снарядов. Но диалог он разрешает себе в виде исключения. Вспоминая разговоры двадцатилетней давности, автор редко воспроизводит чьи-либо слова, избегает прямой речи. Писатель приводит доказательства, не вызывающие сомнений в своей подлинности, сохранившиеся в его памяти, или его блокноте,

или им лично найденные. Но своими мыслями, своими чувствами тех давних дней и сегодняшних делится откровенно, свободно.

Небольшие новеллы, короткие рассказы — их в книге более пятидесяти, — разнящиеся временем действия и временем написания, героями, даже темами, становятся главами единого повествования о судьбе своего поколения.

«Я один из немногих оставшихся в живых — один из родившихся в 1921 году.

Когда началась война, нам было по двадцать лет.

Нас почти не осталось».

Это — из рассказа-исповеди, открывающего книгу. Это — ключ к ней, объяснение авторской непримиримости к выдумкам, лжи, искажениям, умалчиваниям. Ответственность перед невернувшимися. Теми, с кем вместе воевал, дружил, ел из одного котелка. И теми, кого никогда не видел в глаза, но у кого в солдатской книжке стояла та же дата рождения.

Одному из никогда не виденных сверстников — Павлу Когану — посвящен едва ли не лучший рассказ книги «Гроза». В нем приведены ставшие теперь широко известными строки Когана:

Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.

И еще:

Сквозь вечность кинуты дороги,
Сквозь время брошены мостки,
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили,
Отбили у крови...
Во имя войны сорок пятого года.

Потрясенный предвидением Павла Когана, Василий Субботин пишет: «Эти мальчишки — мои товарищи. Это — Белов, Чернобровкин. Это — Всеволод Лобода, песни которого и после его смерти, и после войны еще пели в полках. Это — Твердохлеб, первым вклинившийся со своим батальоном в немецкую оборону на высотах за Одером и убитый просочившимися к штабу автоматчиками...»

Все о том же... Прежде всего о невернувшихся.

Завершая книгу, В. Субботин открыто провозглашает ее идею:

«Я говорю, нам надо спешить рассказать о павших. Раньше — о них. Хотя бы потому, что живые о себе расскажут сами. И поэтому же о них скорее напишут другие... Те же, что погибли, за себя уже не скажут... И судьба их может затеряться.

Я не люблю безымянных братских могил, как и условных символических памятников...»

Это очень властное, но слабеющее с годами чувство — личная причастность к судьбам погибших, долг живущего перед убитыми. Оно-то заставляет предпринимать почти безнадежные поиски, когда после долгих странствий возвращаешься в точку, с которой начиналось движение.

Можно представить себе, что испытал Овидий Горчаков, когда несколько лет назад в Вашингтоне — его туда занесла журналистская судьба — ему попала на глаза книга «Черный марш. Личные воспоминания эсэсовца Петера Ноймана». Еще летом сорок четвертого Горчаков участвовал в боях с эсэсовской дивизией «Викинг», дивизией, где служил Нойман.

В публичной исповеди эсэсовца — следом за историей трех оболтусов, приобщавшихся в специальных заведениях к высотам нацистской премудрости, — шел рассказ о русском походе, грабежах и расстрелах, там всего более поразило О. Горчакова описание казни небольшой кучки партизан.

В своем очерке «Группа «Максим» («Новый мир», № 8, 1963) О. Горчаков это описание цитирует целиком, во всей его палаческой откровенности. Даже закаленного в подобных предприятиях Ноймана потрясло мужество молча гибнущих на снегу безвестных русских парней и девушек.

«Сколько героических подвигов остались неизвестными потому, что очевидцами их были только убийцы!» — восклицает Горчаков.

Он, партизан и разведчик времен войны, лучше других знает, как в застенках, за глухими заборами тюрем и лагерей, в заснеженном поле или в зеленом овраге обрывалась жизнь таких вот двадцатилетних. И ни имен, ни подвигов, ни подробностей гибели — ничего не оставалось. Лишь у старухи матери сохраняется бумажка с невразумительным «пропал без вести» или «в списках погибших не значится».

Что узнал Горчаков от Ноймана? Дату и место. Казнь состоялась в ночь со 2 на 3 декабря 1942 года неподалеку от станции Пролетарская, что в Сальских степях, рядом с железнодорожным полотном, взорванным партизанами. (Дивизия «Викинг» спешила на выручку окруженным под Сталинградом войскам Паулюса.)

О. Горчаков слал письма-запросы, рылся в архивах, ему помогали школьники Пролетарского района. И все тщетно. Он признается: «Порой, когда на запросы приходили отрицательные ответы, когда в архивных поисках одна неудача следовала за другой, казалось, что нет, не удастся прорвать густую двадцатилетнюю пелену истории. Но тогда в его памяти вставали слова-заклинания Юлиуса Фучика: «Не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Не было безымянных героев».

Наконец удалось установить: в ноябре 1942 года партизанский штаб на Волге заслал в степной тыл гитлеровцев семьдесят три партизанские группы — около трехсот шестидесяти человек. Многие из них погибли. В архиве Горчаков то и дело наткнулся на короткие пометки: «Группа уничтожена полностью...»

Одна из исчезнувших групп действовала в дни, о которых пишет Нойман, в районе станции Пролетарская. Это была группа Черняховского с кодовым названием «Максим». Теперь О. Горчаков мог восстановить имена.

Командир — Леонид Матвеевич Черняховский, двадцати восьми лет. Комиссар — Василий Максимович Быковский, двадцати девяти. Заместитель по разведке — двадцатилетний Володя Солдатов. И снайперы-подрывники: Степа Киселев, Ваня Сидоров, Коля Кулькин, Ваня Клепов, Коля Лунгер, Володя Владимиров, Паша Васильев, Коля Хаврошин, Володя Анастасиади — все от семнадцати до двадцати лет. И три девушки: семнадцатилетняя Нонна Шарыгина, девятнадцатилетняя медсестра Валя Заикина, двадцатилетняя радистка Зоя Печенкина.

Это они в голой степи взорвали «железку», вели отчаянный — на одного десять — двадцать «викингов» — бой. Раненные, избитые, истекающие кровью, стояли они в кольце врагов и молчали, так и не назвав себя, не выдав командиров. Одному из них вонзили в горло кинжал, другого сожгли огнеметной струей, остальных покосили пулеметными очередями, добили pistolетными выстрелами в упор...

Немного, совсем немного сведений удалось собрать О. Горчакову. Но каждая подробность, каждая строчка из чудом уцелевшего письма — они бережно приведены в очерке — бьют в сердце.

К чувству восхищения героизмом павших прибавляется чувство благодарности к их сотоварищу и сверстнику, вернувшему нам их имена, их подвиг.

Казалось бы, можно лишь радоваться тому, что через два года после небольшого очерка «Группа «Максим» О. Горчаков опубликовал большую повесть «Максим» не выходит на связь» («Молодая гвардия», №№ 10, 11, 1965).

Однако даже самое неискушенное ухо, сопоставив оба названия, почувствует: произошло незаметное переключение тона. Новое название слегка отдаёт детективом.

Дело, конечно, не в названии, и в конце концов «Максим» не выходит на связь — вовсе не детективное произведение. О. Горчаков слишком хорошо понимает несоответствие трагедии на станции Пролетарская завлекательному жанру, его, надо полагать, коробит, когда подобные трагедии с предпринимательской поспешностью превращаются в легкое чтиво. Но дань литературным поветриям он все-таки отдал.

Фактов, содержащихся в очерке, для повести было явно недостаточно. Пополнить их новыми документальными сведениями, судя по повести, автору не удалось или почти не удалось.

Правда, до момента перехода группой линии фронта герои почти

непрерывно находились в поле зрения людей, с которыми автор мог встретиться, у которых мог получить те или иные сведения.

Но после того, как линия фронта осталась позади, свидетелей больше нет. Ни один из группы не остался в живых. Нет ни документов, ни писем. Лишь в последний час появятся эсэсовцы с пулеметами, огнеметами, кинжалами. Один из них потом напишет об этом часе.

Впрочем, дополнить, домыслить короткие биографии ребят из группы «Максим» О. Горчакову не составляло большого труда. Какими-то основными сведениями он располагал, остальное знал по себе: он семнадцати лет с путевкой комсомола поступил в партизанскую спецшколу, он помнил, что такое переход линии фронта, диверсия на железной дороге, засады, голод, гибель друзей. И это личное знание ощущается в деталях, какие не придумаешь и при самой богатой фантазии.

И в рассказе о последнем переходе О. Горчаков сдержан, тактичен. Он чувствует, как увеличилась ответственность, легшая на его плечи. Но характер повествования уже задан, установлена степень детализации, намечены нити личных взаимоотношений. Все это требует своего продолжения в заключительных главах.

В этих последних главах повести (примерно трети всего произведения) нет ни одного места, режущего слух своим неправдоподобием. Но привнесение в документальное повествование ложной «художественности» не могло ему не повредить.

Вот несколько примеров.

Девушки-партизанки обморозили ноги. «И только Коля Кулькин посмотрел в темноте, какие глаза были у Зои, когда командир растирал ей ноги. Нет, на него, Кулькина, никто еще в жизни, даже милосердная сестра Настя, так не смотрела».

Или другая сцена: «Володя Анастасиади украдкой наблюдал за Нонной — вот она оттопырила нижнюю губу и сдула с глаз непокорную прядь блестящих черных волос».

Все эти «непокорные пряди» и тому подобные расхожие книжные подробности — а их у Горчакова немало — исподволь делают свое дело, переводя повесть из документального русла в русло ordinарной беллетристики.

В группе, где были семнадцати-, двадцатилетние ребята и девушки, наверное, кто-то на кого-то так смотрел, кто-то за кем-то украдкой наблюдал. Но рассказано об этом с той банальной книжностью, с той чисто литературной обязательностью, которая вовсе не предполагает обязательности жизненной, психологической.

Вряд ли автор придумал, будто у Черняховского отец был арестован в тридцать седьмом и Леонид утаил об этом в анкете. Но беседа на сей счет между Черняховским и комиссаром звучит искусственно, и прежде всего благодаря своему финалу («После долгого молчания комиссар сказал: «Дай, друг, докурить! У тебя покрепче»»).

От книжной моды наших дней здесь больше, нежели от реальности.

И лексику Горчаков местами черпает из неглубоких источников («Похожий на крик раненого зверя протяжный и скорбный гудок паровоза». «Паровозный гудок, прозвучавший в степи, точно крик раненого зверя». «В глазах Лены зажглось холодное пламя». «Слезы обожгли ему глаза». «Скупые, неловкие слова, по-мужски крепкое рукопожатье»).

С. С. Смирнов однажды припомнил остроумное замечание С. Я. Маршака: «Предположим, что писатель побывал на Луне. И вдруг, вернувшись оттуда, он сел писать роман из лунной жизни. За чем? Читатель хочет, чтобы ему просто, «документально», рассказали, что собой представляют лунные жители, как они живут, что едят, чем занимаются».

Защищая «некоторую сухость изложения», преднамеренный отказ от ярких метафор, сравнений, пейзажа, диалога, С. С. Смирнов пишет: «Мне кажется, что температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала, а то, о чем я здесь пишу («Рассказы о неизвестных героях». — В. К.), — добела раскаленный материал удивительных героических подвигов наших людей, и о нем, по моему мнению, следует рассказывать максимально сдержанно и строго...»

Документальный факт, мы видим, пребывает в достаточно сложных и тонких отношениях с литературной тканью. Его восприятие, вера в его достоверность зависят и от интонации, с какой он подается, и от композиции, в которую включается, и от лексики.

Бывает, что настораживает именно тон, сбивает с толку его несоответствие материалу, и лишь потом убеждаешься: такое впечатление явилось потому, что и материал-то не совсем добротен, отношение к фактам небезупречно.

О воспоминаниях А. Кривицкого «Не забуду вовек» (Военное издательство, 1964) сказано немало добрых слов. Книга действительно привлекает живой наблюдательностью автора, как говорится, журналистской хваткой. Судьба газетчика, фронтовые перепутья сводили А. Кривицкого с интересными людьми, командовавшими частями и соединениями нашей армии, делали свидетелем всевозможных событий на фронте и в тылу. Это и предопределило широкий охват воспоминаниями, их многочисленные, чаще всего оправданные ответвления и отступления, экскурсии в предвоенное прошлое, выходы в сопредельные темы.

Если, скажем, об И. Панфилове мы уже знали из книг и очерков, то честь первого жизнеописания Александра Ильича Лизюкова целиком принадлежит А. Кривицкому. Заслуга автора тем более велика, что генерал Лизюков — из тех военных деятелей, чья яркая и трагическая жизнь, чья высокая доблесть были преданы забвению.

Да и страницы, посвященные П. Ротмистрову, больше, чем обычная биография. Вернее, биография военачальника сливается здесь с историей рода войск, который он представляет. Автор абсолютно прав, когда в связи с рассказом о П. Ротмистрове утверждает, что расформирование механизированных танковых корпусов и пренебрежение теорией глубокой операции были не чем иным, как отголосками «разоблачения» Тухачевского (вместе с Тухачевским эту теорию разрабатывал выда-

ющийся военный ученый Триандафиллов). Но он заблуждается, полагая, будто немецкая армия не знала о наших новшествах в применении танков. Знала. И без всякой разведки. Маршал С. Бирюзов в этой связи писал в первой книге своих мемуаров: «Манштейну-то хорошо известно, что теория глубокой операции с использованием крупных соединений танков, механизированных войск и авиации зародилась и впервые была разработана в СССР. Он ведь сам приезжал к нам в тридцатых годах на маневры, чтобы поучиться этому искусству».

Вообще, когда дело доходит до некоторых конкретных или специальных сведений, мемуарист, как говорится, не всегда на высоте. Он чрезмерно уповает на память и попадает иной раз впросак. Так, например, рассказ М. Шолохова «Наука ненависти» почему-то назван «Наукой побеждать», совсем как знаменитый труд Суворова. Есть неточности в описании структуры обороны на Курском выступе.

Все это, слов нет, досадно, однако в конце концов извинительно. Режут ухо не столько даже неточности — кто здесь без греха? — сколько странно легковесный тон, неожиданно прорывающийся у автора. Опытный литератор и редакционный работник, немало видевший и знающий, повествуя о войне, вдруг ударяется в кокетство. «Вас не смутит, если я начну с общеизвестного?» — игриво спрашивает он у читателя. Или, вспомнив, что он, по собственной характеристике, «душа вечеринок, любитель цирка, эстрады, домашний исполнитель куплетов и романсов с обширным репертуаром», рассказывает то сомнительную историю, то дореволюционный анекдот.

Никто, конечно, не станет требовать от мемуариста, чтобы на протяжении своих обширных воспоминаний он придерживался одной интонации, не смел улыбнуться, не смел рассказывать о смешном. Речь здесь о другом — о такте и вкусе, об игривости и кокетстве, не вяжущихся с главным, сквозным мотивом книги, и наконец, о самом этом мотиве, о том, как на нем сказался своеобразный подход автора к предмету своих воспоминаний.

Тема двадцати восьми героев-панфиловцев возникает в самом начале книги, развивается в середине, напоминает о себе в заключительных главах. О панфиловцах слышит А. Кривицкий от приехавших в Москву кубинцев, о них думает, наблюдая церемонию подписания акта о капитуляции фашистской Германии.

Тема самоотверженного подвига двадцати восьми в воспоминаниях А. Кривицкого оправдана и личной причастностью к ней автора. Он был первым, кто написал о бое у разъезда Дубосеково. Это ему передал редактор четыре строчки из политдонесения, где не было ни имен, ни указания точного рубежа, лишь сообщение о бое: группа солдат во главе с политруком Диевым отразила атаку пятидесяти танков.

Этих четырех строк хватило А. Кривицкому, чтобы написать перedовую статью со многими деталями беспримерного боя.

Откуда они взялись, эти детали? Четыре строчки есть четыре строчки. И больше, чем самое короткое сообщение о факте, в них не уместить. Да и кто мог сообщить о деталях, если в донесении указывалось:

все герои погибли? Особенно примечательна одна подробность в статье. Панфиловцев, оказывается, поначалу было двадцать девять. Но нашелся трус — предатель, поднявший руки. Его немедленно расстреляли.

Как появился этот трус, как он попал в статью? Для правдоподобия? Или по бытовавшей литературной традиции: коль беда, несчастье — ищите предателя?

Вскоре А. Кривицкий приехал в дивизию Панфилова и выяснил: фамилия политрука — Ключков, а Диев — прозвище. Журналист говорил с капитаном Гундиловичем, офицером панфиловской дивизии, встретился с путевым обходчиком, видевшим начало боя, в госпитале разыскал панфиловца Натарова. Тот умирал, проваливался в забытие. «Говорил тихо, отрывочно, иногда бессвязно», — так сказано в воспоминаниях автора.

Как ни мало дали эти встречи, после них А. Кривицкий написал известный очерк «О 28 павших героях», завершив его перечислением имен и фамилий погибших панфиловцев.

Когда очерк был сверстан на газетной полосе, А. Кривицкого, сказано в книге, вызвал тогдашний начальник Главпура А. Щербаков.

«Я... рассказывал, как написал передовую и подвал, оттиск которого лежал на его столе.

— Хорошо, — сказал Щербаков, выслушав меня. Подчеркнув в оттиске подвала две строки, он спросил: — А кто вам передал последние слова Ключкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»?

Я ответил:

— Все, кто был с ним, убиты, поле боя все-таки осталось у немцев. Натарова я видел умирающим...

Александр Сергеевич с усилием встал из-за стола, молча сделал несколько шагов по кабинету.

— Да, отступать некуда — позади Москва! Так думаем все мы, весь народ... — Он протянул мне руку: — Возвращайтесь к своим обязанностям, товарищ. До свиданья!

Назавтра очерк был напечатан».

Подвиг канонизировался в изложении очеркиста, в форме, какую ему придал он, оперативно и уверенно.

Сейчас этот очерк, в котором, как уверял тогда журналист, восстановлена «полная картина гибели горстки храбрецов», перепечатан в книге (так же, как и передовая статья) — без всяких изменений.

С тех пор миновали годы, и выяснилось: несколько человек из двадцати восьми панфиловцев живы! Об этом упоминает и А. Кривицкий в книге «Не забуду вовек». Он называет имена Шемякина, Васильева, Шадрина, сообщает, что они прислали ему свои фотографии. Но никаких изменений в описание боя не вносит, никаких новых подробностей не приводит. Виделся ли он с ними или нет, пытался ли наконец узнать от непосредственных участников, как проходил этот беспримерный подвиг, — ничего не известно.

Благодаря С. С. Смирнову, В. Субботину, О. Горчакову и ряду других писателей и журналистов летопись Великой Отечественной войны

обогадилась новыми подробностями, новыми именами ее героев. Здесь положение обратное. История называет имена, указывает, где искать детали невиданного сражения, а литератор не обращает на это внимания.

Другой писатель, также бывший в годы войны фронтовым журналистом, Р. Бершадский, в 1963 году посвятил оставшемуся в живых панфиловцу Васильеву документальный рассказ «Смерть считать недействительной». В нем, между прочим, говорится и об А. Кривицком, долгое время не желавшем признавать живых панфиловцев: «Он не пишет ни слова, что живы Васильев и Шемякин, что жив, возможно, еще кто-нибудь из двадцати восьми, как добровольный несменяемый часовой, он стал на посту у легендарного числа: «двадцать восемь погибших». Но разве не пора уже понять, что не только не грешно, — наоборот, надо радоваться, если погибли не двадцать восемь, а меньше, что такие «ошибки» могли вызывать раздражение лишь у людей, которым был дорог не народ, а исключительно собственный престиж: ежели двадцать восемь, значит, двадцать восемь, и кто осмелится это опровергать, пусть покрепче призадумается, во что ему это может обойтись...»

Рассуждение Р. Бершадского справедливо. Только вот уподобление часовому не совсем удачно. Часовой — воплощение стойкости и воинского долга, а тут скорее вспоминается эпизод с отцом поручика Синюхаева из новеллы Ю. Тынянова «Подпоручик Киж». После того как злополучный поручик по оплошности писаря угодил в список умерших, Синюхаев-старший уже не был уверен, что сын жив, и во избежание недоразумений уложил его в госпиталь с диагнозом «случайная смерть».

В случае с генералом Лизюковым, А. Кривицкий не сомневался: истина должна восторжествовать. А в истории панфиловцев он перепевал старую погудку, не замечая, что и здесь проявляется тянущаяся издавна тенденция к замалчиванию если не всей, то части правды.

Когда у писателя достает настойчивости в собирании фактов и разрушении легенд, достает таланта, его негромкое слово может зазвучать с большой силой.

В разговорах и спорах о «невыводимой» военной литературе мы чаще всего имеем в виду свои внутренние, что ли, нужды, забывая подчас, что наши отцы, братья, друзья гибли за Родину и человечество, что память о них способна послужить в незатихающей битве против новой войны, обновленного фашизма.

Заканчивая свой очерк о группе «Максим», О. Горчаков писал: «Теперь мы знаем имена героев. Мы никогда не забудем их подвиг. И мы знаем их убийц».

За годы, миновавшие после войны, вокруг убийц на Западе выросли целые леса легенд. Выросли не сами по себе. Кто-то их сажал, кто-то поливал, а кто-то отсиживается и поныне, надеясь на короткую память людей да пресловутый «срок давности». Разрушению таких легенд служат некоторые военно-мемуарные книги последних лет, в том числе «Берлинские страницы» Елены Ржевской («Знамя», № 6, 1965).

Наша печать еще ничего не сказала о «Берлинских страницах», а их

уже перевели на иностранные языки, они стали доводом в международных спорах.

Е. Ржевская избегает пышных деклараций, торжественных заявлений. Она довольствуется ролью свидетеля. И пишет лаконично, строго, чуть не протоколно: «Люди, которым это было поручено, искали неустанно, преданно, чувствуя огромную ответственность». Это поиски Гитлера, живого или мертвого. Если мертвого, то опознание трупа, документальное подтверждение личности.

В специально созданной разведывательной группе Е. Ржевская была переводчиком. Ей, как и В. Субботину, «повезло»: она оказалась там, где решался исход битвы за дальнейшие судьбы мира. В таких местах, в такие минуты открывается многое. Только надо уметь смотреть, не отводя глаз. Смотреть и сопоставлять. Смотреть и думать. Смотреть и сберегать в памяти, чтобы потом, спустя десятилетия, рассказать людям.

Е. Ржевская умеет запоминать увиденное («Запомнилось: тумба, оклеенная афишами, шифоновые занавески, как белые руки, протянутые из проема окна, привалившийся к дому автобус с рекламой на крыше — огромной туфлей из папье-маше, и на стенах категорические заверения Геббельса в том, что русские не войдут в Берлин!»).

Но, не довольствуясь такой лишь задачей, писательница запаслась долготерпением историка, годами роющегося в архивных бумагах. (Все документы, приведенные в записках, а их десятки, публикуются впервые.)

Настойчивая скрупулезность при восстановлении последних сцен в имперской канцелярии напоминает настойчивость В. Субботина при описании последнего боя войны — боя за рейхстаг. Но сходство обеих книг идет не от совпадения времени и места их действия, а от чувства огромной ответственности. Ответственности прежде всего перед своим поколением, перед теми школьниками и студентами, что так и не вернулись к недочитанным книжкам.

Близость биографий личных, писательских ведет к общности мировосприятия, которая дает себя знать при всем различии литературных манер и интонаций.

Пиши Е. Ржевская в субботинском, так сказать, ключе, она, наверно, назвала бы свою книгу не подчеркнуто сдержанно — «Берлинские страницы», а что-нибудь вроде «Как кончают диктаторы» (такова — относительно к названию — тема записок). Но, как уже говорилось, автор склонен к самоограничению: никаких эмоций, только наблюдения и документы, документы и наблюдения.

Личные дневники гитлеровцев, письма, бумаги, меченные грифом «секретно», «строго секретно», «совершенно секретно», обретают силу, подле которой минутами меркнет самая совершенная литературная выразительность.

«Фюрер говорит: правдой или неправдой, но мы должны победить. Это единственный путь, и он верен морально и в силу необходимости. А когда мы победим, кто спросит нас о методе? У нас и без того столь

ко на совести, что мы должны победить, потому что иначе наш народ и мы во главе со всем, что нам дорого, будем стерты с лица земли».

Точнее, полнее саморазоблачиться невозможно. Дорого стоят эти выдержки из дневника Геббельса.

Фашизм изнутри, фашизм наедине с самим собой, освобожденный от высокопарной словесности, — зрелище поразительное. Он не только враждебен всему человеческому, не только пропитан ненавистью к чужим народам, в том числе и своим союзникам, — он бесконечно презирает собственный народ, кладущий головы за демагогические девизы и посулы. Соотечественникам лгут на каждом шагу, их дурманят национальной лезть, мистифицируют культом Гитлера. Дабы превратить народ в стадо, следует прежде всего привить ему чувство национального превосходства. Он не такой, как другие, — избранный, отмеченный, единственный. И вождь у него — тоже избранник божий, отмеченный, единственный. А дальше — довод за доводом с четкостью марширующих колонн: «Фюрер — это Германия», «За вас думает фюрер, ваше дело лишь выполнять приказ».

Фашизм предстает как всеохватывающий, всеобъемлющий, все пронизывающий цинизм, цинизм, доведенный до абсолюта. Даже издыхая в бункере имперской канцелярии, он продолжает источать ложь. Здесь, у смертной черты, все его особенности проявляются с неотразимой ясностью. И прежде всего — ничтожество вожаков, руководителей, действующих теперь по нехитрому принципу банкротов: спасайся, кто может, как может, а концы — в воду.

Куда что делось! Сползает грим, исчезают позы, застревают в глотке пышные слова. Один спешит договориться с недавними противниками, другой просит принять отставку из-за «сердечного заболевания», третий таинственно исчезает. А если еще и сохраняются грим, позы, слова, то они уже ничего и никого не маскируют. Скорее наоборот: придя в полное противоречие с обстановкой, они обличают. И известная летчица Ганна Рейч, фанатично преданная нацизму и лично Гитлеру, с отчаянием восклицает: «И это те, кто правил нашей страной?»

Вне ореола власти и мистификации Гитлер предстает полным ничтожеством, то есть именно тем, чем он и был всегда, воплощая безграничную власть, манию величия и манию преследования. «Сверхчеловек», претендующий на мировое господство, он постоянно пребывал в состоянии животного страха. Ответственный за его охрану Раттенхубер пишет: «Даже белье, полученное из стирки, он решался надевать лишь после того, как оно проходило обработку при помощи рентгеновского аппарата... Так же просвечивались рентгеном письма, адресованные фюреру... В его личных документах было множество сигналов тревоги. Даже в его кровати. Никто, за исключением самых близких ему людей, не мог попасть без предварительного обыска в апартаменты Гитлера».

По внутренней выхолощенности фюрер мало чем отличался от своих приспешников и соратников. Эта выхолощенность во всем — в шкурных расчетах, мелком политиканстве, подсиживании друг друга, в интригах, неизменном фиглярстве и еще в одном — в убийственном совпа-

дении поступков и реакций. Дневник Геббельса, например, напоминает дневник Бормана, дневник Бормана — дневники немецких фронтовиков, похожие в свою очередь друг на друга. «Их схожесть... отнюдь не признак демократичности, а чего-то другого — того чудовищного единообразия мышления, на которое рассчитывал Гитлер и которое культивировал фашизм».

И на последней странице, завершая цепь наблюдений и сопоставлений, Е. Ржевская пишет: «Чтобы добиться бездумного подчинения масс единоличной воле фюрера, поправа, уничтожена личность каждого».

Писательница неспешно, без нажима подводит к выводам. Для нее, пожалуй, не столько даже важны выводы, сколько движение к ним, приобщающее читателя ко всем новым сведениям и документам. Пусть и он склонится над микроскопом, глянет в окуляр. Под объективом — смертоносные бациллы фашизма.

Е. Ржевская стремится, чтобы читающий ее записи стал соучастником расследования — сам сравнивал документы, высказывания, дела, сам приходил к выводам, не надеясь на подсказки.

Немногим, вероятно, удалось так последовательно, осмысленно и целенаправленно проследить последние дни и часы фюрера. Однако интерес Е. Ржевской к ее «герою» отнюдь не исторический, не архивный.

«Когда умирают тираны, в первый момент наступает замешательство: возможно ли это, неужто и они состоят из смертных молекул?

Вслед за тем обстоятельства их смерти, если они хоть сколько-то смутны, начинают обрастать легендами».

Снова легенды и снова необходимость их предупреждать, развенчивать, преодолевать. Но на сей раз такая необходимость вызвана причинами, отличными от тех, какие побуждали В. Субботина. Здесь надо исключить легенды, дабы исключить повторение факта. Появлению нового диктатора несказанно благоприятствуют легенды вокруг прежнего.

Никто не плодит, не множит в таком масштабе вокруг себя чудесные небылицы, как «сверхчеловек», «сверхгений» и т. д.; не зря же его обычно именуют «легендарным». И находятся апологеты, взыскующие сильной руки. Западногерманский историк Ф. Эрнст пишет: «Почти-тельное преклонение и любовь к отечеству повелевают нам не разрушать престиж некоторых имен, с которыми мы привыкли связывать победы нашей армии».

Все это нам сейчас отлично известно, голоса, реабилитирующие фюрера, звучат достаточно громко — и в Бонне, и в Западном Берлине. Они-то и заставляют ворошить давние документы, искать, допрашивать собственную память, придирчиво проверяя ее свидетельства. Необходимо закрыть любую щель, откуда может прорасти легенда, способная хоть как-то реабилитировать фашистского диктатора, сослужить службу тем, кто мечтает взять реванш, переиграть заново однажды проигранную партию.

Тут-то и поднимается бунтующая память. В ней — допросы, акты, донесения. Но не они одни. В ней — люди, те, что когда-то вместе с то-

бой шли в школу, на работу, в институт, а потом — в бой, на смерть. О них, этих людях, Е. Ржевская пишет тоже сдержанно, немногословно. Но тут уже иной подтекст. В нем — сердечное сострадание друга.

«Курков показывал мне письма из дому, с Урала.

Жена писала Куркову обстоятельно и просто. И в том, как она оберегала его от всех тягот и переживаний, видна была верная и добрая душа. Если и сообщит что-либо тяжелое, так и то уже как миновавшее: «Коля, Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая». И ни стона, ни жалобы, ни просто вздоха. Письма заканчивались всегда одинаково: «Целую мы вас 99 раз, еще бы раз, да далеко от вас».

Курков участвовал в штурме имперской канцелярии, одним из первых ворвался в здание и был смертельно ранен эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Это произошло, когда над рейхстагом уже был водружен красный флаг».

Это написано рукой человека, знающего меру горя, обрушенного войной, человека, который не желает и не может оставаться лишь протоколистом.

Возвращение к военному прошлому, возвращение к подлинным фактам и именам необходимо и для тех, кого уже нет, и для тех, кто живет сегодня, кто придет завтра. Для них, сегодняшних и завтрашних, правда великой войны дороже, выше, насущнее любых легенд.

1965

ЧЕЛОВЕКИ СО СТОРОНЫ

Сперва два факта. Литературный и исторический. Говоря о литературном, я имею в виду конкретное историческое явление, с высокой художественной точностью запечатленное в широко известном романе.

Исторический же факт, о котором предстоит речь, непосредственно воздействует на литературную жизнь. И, сопоставляя один с другим, мы, возможно, установим примечательную закономерность.

Начнем с литературного. В 1932 году вышел роман М. Шолохова «Поднятая целина». Критика по достоинству оценила талант писателя, создавшего самобытные характеры, полно проявившиеся в сложные дни коллективизации. Наибольшей удачей (в том не было преувеличения) все признали образ «двадцатипятипятисычника» Семена Давыдова — человека смекалистого и сердечного, наделенного чувством справедливости и чувством юмора. У рецензентов, однако, не возник вопрос: почему Давыдов — горожанин, отродясь не пахавший и не сеявший, должен заниматься организацией колхоза, учить мужиков уму-разуму?

Хотя вопрос этот сейчас напрашивается сам собой, не станем спешить с ответом. Перейдем к факту историческому.

В 1934 году был основан Союз писателей СССР. Подготовкой Первого съезда, его деятельностью руководил М. Горький, сделавший главный доклад. Он же был избран председателем правления нового Союза.

Первым секретарем стал тридцатитрехлетний А. Щербаков — человек, в отличие от остальных членов правления и секретариата, к литературе не причастный, среди делегатов не значившийся, писателем абсолютно неизвестный. (Через два года А. Щербакова перебросят на руководящую работу в Ленинград, потом в Иркутск; в пору Великой Отечественной войны он займет важнейшие партийные и армейские посты.)

Почему в 1934 году рядом с Горьким, еще при жизни ставшим классиком, у руля Союза писателей занял место «человек со стороны»?

Чтобы закупать канцелярские столы и подписывать накладные на чернила, совсем не обязательно быть первым секретарем, и не это, видимо, входило в круг его обязанностей.

Только что созданный Союз нуждался, надо думать, в человеке, которому по плечу организаторская работа. Но почему на эту роль не годился ни один из писателей, хотя среди них были люди, имевшие немалый опыт такого рода деятельности? Почему, наконец, и когда миновал этап становления, сохранилась едва ли не ключевая должность секретаря по организационным вопросам?..

М. Шолохов подчеркивал, что в поисках героя «Поднятой целины» он остановил свой выбор на Семене Давыдове — рабочем-путиловце, в прошлом — балтийском моряке, желая воздать должное питерским пролетариям, чья революционные традиции Балтийского флота. Писатель дорожил надежностью, политической выдержкой Давыдова, но не наделял героя какими-то особыми качествами, объясняющими его появление в Гремячем Логе, центральную роль в событиях.

Да и нам сегодня не так легко объяснить себе движение «двадцатипятипятисычников» — городских рабочих, направленных в деревню для создания колхозов. Решение о «двадцатипятипятисычниках» принял Пленум ЦК ВКП(б) в ноябре 1930 года. На Пленуме говорилось о небывалых темпах коллективизации, превосходивших самые оптимистические прогнозы, о стремительной тяге бедняков и середняков к социалистическим формам хозяйства и т. д. Зачем же, казалось бы, лишать фабрики и заводы квалифицированных рабочих со стажем, а число «двадцатипятипятисычников» доводить до 60 тысяч?..

В поисках ответа вспомним известную мысль В. И. Ленина о том, что ценны лишь кооперативные товарищества, которые осуществлены самими крестьянами, по их свободному почину, в выгоде которых они непосредственно убеждают.

Приведу еще более определенные слова В. И. Ленина: «...учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать» (разрядка В. И. Ленина. Полн. собр. соч., т. 38, с. 201).

Крестьяне пошли за большевиками в дни революции и гражданской войны, связывая свои надежды на будущее с социалистическим строем, и теперь, когда этот строй предложил бы им свободно выбирать формы осуществления надежд, когда город окончательно одолел буржуазию и мог предоставить реальную помощь сельским товариществам, мужик не сплеховал бы, отстоял бы свои интересы. На его стороне бы-

ли очевидные преимущества совместного, кооперативного ведения дел, на его стороне было государство, набиравшее индустриальную мощь.

Но при такой ситуации Семену Давыдову нечего делать в Гремячем Логе. Из человека со стороны он превратился бы в лишнего человека. Однако М. Шолохов писал о натуре, активность которой объективно необходима. Давыдов — одно из художественных открытий не в последнюю очередь и потому, что он живет в реальных условиях своего времени, заметно отличающихся от условий, которые имел в виду В. И. Ленин, обдумывая кооперативный план. Давыдову ни к чему секреты выращивания хлеба, особенности и обычаи деревенской жизни. Достаточно знать линию и неотступно ее проводить. Он настолько уверен в безошибочности этого своего знания, что еще до приезда в Гремячий Лог, до первой встречи с мужиками, сам вправляет мозги секретарю райкома, втолковывает насчет раскулачивания. Когда секретарь пытается его остудить, урезонить, Давыдов уличает секретаря в ошибочности взглядов, подозревает в хромоте «на правую ножку».

Практическое назначение Давыдова чем-то сходно с назначением первого секретаря Союза писателей, избранного на съезде в 1934 году. Оба они делегированы административной системой, не нуждающейся в самостоятельности, самостоятельности организаций, казалось бы, демократических по самой своей природе.

Мало что казалось... А. Жданов, выступая с программной речью на писательском съезде, ссылаясь на Сталина, прямо заявил: корни наших трудностей и недостатков вытекают из отставания организационно-практической работы. Он говорил не о свободном соревновании талантов, художнических исканиях, не о многообразии советской литературы, не о культурной преемственности, без которой немислимо творчество. Но твердо очерчивал круг героев, исходя из социальной, профессиональной принадлежности («рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, партийцы, хозяйственники, инженеры, комсомолцы, пионеры. Вот — основные типы и основные герои нашей советской литературы»).

О творческой дерзости, об одаренности и гражданском мужестве не упоминалось. Какие-либо точки соприкосновения отечественной литературы с мировой начисто отсутствовали, поскольку буржуазная литература, как установил А. Жданов, находилась на стадии полного упадка и загнивания, «продала свое перо капиталу», ее герои — «воры, сыщики, проститутки, хулиганы». Оратор призывал советских писателей соответствовать определению, данному им Сталиным, — стать подлинными инженерами человеческих душ, бороться за качество произведений. «Слабости нашей литературы отражают отставание сознания от экономики, от чего, разумеется, не свободны и наши литераторы».

Семен Давыдов, с его живым умом, чуткостью и наблюдательностью, будет стараться все же уловить дух деревни, постичь мотивы, диктующие поступки крестьян. А. Жданов не видел необходимости знать литературу. Он давал линию. Дабы ее проводить, нужен человек, сосредоточивший в своих руках ощутимую власть, нужен аппарат. Большие надежды на Горького не возлагались, он лишь «оказывает партии и про-

летариату» неоценимую помощь «в борьбе за качество литературы, за культурный язык» (!)

Среди делегатов съезда было немало великолепных художников, но хватало и функционеров, а также ремесленников. В делегатских списках красноречиво отсутствовали А. Ахматова, М. Булгаков, П. Васильев, Н. Заболоцкий, А. Платонов...

Речь А. Жданова задавала тон. Отныне солидный административный или государственный пост предоставлял право читать нотации писателям, музыкантам, художникам, режиссерам, ученым. Указания надлежало принимать к неуклонному исполнению. Принимать как истину в последней инстанции.

Известные постановления, дающие установку литературе, кинематографу, театру, музыке, вышли из-под пера человека, надеявшегося не на силу убеждения, но на силу угроз. Бросалось в глаза сходство с терминологией времен массовой ловли «врагов народа», доносился дымок инквизиторских костров, слышались раскаты прокурорских речей А. Вышинского на процессах конца 30-х годов.

Союз композиторов возник в 1948 году на волне постановления об опере «Великая дружба», где советской музыке по пятибалльной системе ставился «кол», ее состояние определялось как «крайне неудовлетворительное». Удар безошибочно наносился по лучшим нашим композиторам — Н. Мясковскому, Д. Шостаковичу, С. Прокофьеву, А. Хачатуряну. Они, как выяснилось, создавали антинародную формалистическую музыку. Для них не нашлось места в правлении нового Союза, насчитывающем свыше шестидесяти человек...

В воспоминаниях М. Ромма приводится характерный разговор с С. Дукельским, некогда возглавлявшим кинематографическое ведомство. Музыка, написанная замечательным композитором Анатолием Александровым для фильма «Ленин в 1918 году», С. Дукельскому категорически не понравилась. Обращаясь к Александрову, он спросил:

«— Вы профессор?

Александров: — Да, профессор.

Дукельский: Ага!.. Вы консерваторию кончили?

Александров (удивленно): Я в ней преподаю.

Дукельский: Ну да, преподаете, это понятно, раз вы профессор... а кончили?

Александров: Кончил.

Дукельский: Так... Вот тут у вас один мотив похож на польку...

Александров: Позвольте, какая же это полька, когда здесь счет на три, а полька на два.

Дукельский: Это все равно... Потом вот этот марш царицынский похож у вас на песню «По долинам и по взгорьям».

Александров (очень вежливо): Вы находите? Я не могу обнаружить ни малейшего сходства.

Ромм: Семен Семенович! Побойтесь бога! При чем здесь «По долинам и по взгорьям»?..

Дукельский: А вы помолчите, товарищ Ромм. Я с профессором разговари-

ваю. Скажите, профессор, кто это написал оперу, где летают девы валькирии? Их еще на веревках спускают в театре.

Александров: Вагнер...

Дукельский: Сыграйте мне что-нибудь из Рихарда Вагнера.

Александров: А что же именно?

Дукельский: Что-нибудь подходящее. (*Александров играет «Полет Валькирий» из оперы «Валькирии» Вагнера.*) Ну вот, очень хорошо! Вы так и напишите музыку. Если можно, вот эту самую музыку и напишите!

Александров: Но ведь она уже написана!

Дукельский: Неважно, украдите.

После этого дикого разговора Дукельский вызвал меня к себе и сказал:

— Он профессор, украсть не сможет, чересчур честен, интеллигент. Вы найдите другого композитора, который смог бы украсть. А эту музыку я запрещаю».

Нечего церемониться с профессорами, композиторами, писателями. Впрочем, не обязательно только лишь запрещать, громить или учить воровать. Недрогнувшей рукой Сталин начертал резолюцию на горьковской сказке «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее «Фауста» Гете...», повергнув в изумление, видимо, автора, а также литературоведов всех времен и народов. За исключением привычно пришедших в состояние экстаза: «Впрямь, штука... впрямь, сильнее «Фауста»...»

Чем выше ранг, тем менее обязательна компетентность, тем больше можно себе позволить, спесиво давая советы, казня либо милуя. Берия толковывал зеку А. Туполеву, который был арестован до войны, какой необходим бомбардировщик для ударов по Берлину. В 1946 году академик П. Капица отказался дальше участвовать в ядерных работах, которые было поручено возглавлять Берии. Он написал, что оркестром не может руководить дирижер, не умеющий читать партитуру.

Сталин вносил категорическую ясность в проблемы языкознания и, почитая себя абсолютным авторитетом в биологии, равно как и в других науках, поддерживал Т. Лысенко против Н. Вавилова. На одном из заседаний в Кремле он прервал Н. Вавилова репликой: «Это вы, профессора, так думаете. Мы, большевики, думаем иначе».

Дилетанты широкого профиля, они бесцеремонно вторгались в любую область, навязывали свою зачастую губительную волю. А. Жданов не довольствовался литературой и музыкой. И. Сталин считал его, как, разумеется, и самого себя, «главным артиллеристом». Вмешательство «главных» привело к тому, что непосредственно перед нападением гитлеровской Германии производство самых нужных для войны 45- и 76-миллиметровых пушек было прекращено.

Традиции эти не спешили исчерпать себя. Н. Хрущев устроил разнос художников на выставке в Манеже, в непристойном тоне наставлял писателей. М. Суслов учил А. Твардовского редактировать «Новый мир» и, не читая даже, пользуясь шпаргалкой, составленной референтами, решил участь романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Уже в недавние сравнительно времена заместитель министра культуры громогласно отвергал творчество А. Шнитке и других молодых симфонистов; о песнях В. Высоцкого он выразился прямо: «Мутная дребедень».

Ихнего брата, чиновника, надзирающего за искусством, не проведешь. Министерство культуры сражалось с балетом Р. Шедрина «Кармен», безошибочно распознав в героине М. Плисецкой женщину легкого поведения, что не соответствует национальному характеру испанок.

Это об ихнем брате когда-то сказал Л. Утесов, изменив своему обычному дружелюбию: «Они только и умеют саксофон выпрямлять».

Понадобились годы, дабы фельетонисты, со свойственным им чувством юмора, сообразили, что изречение «Экономика должна быть экономной», украшавшее фасады домов и газетные полосы, содержит не больше смысла, нежели мудрость: «Искусство должно быть искусственным», «Ограниченность должна быть ограниченной» и т. д.

Горе не только от самих этих указаний, истин, директив. Но и от надолго затянувшейся их неподсудности, недоступности для критики.

Демьян Бедный мог обмениваться едкими эпиграммами с А. Луначарским. Я лично не в состоянии вообразить себе шарж или эпигramму на человека со стороны, занимающего сановное кресло. Он такого не потерпит, оберегая свой авторитет.

В науке, в народном хозяйстве авторитет этот идет на убыль. Но не в сферах искусства, не в литературной жизни, не в издательской практике. Искусство наиболее беззащитно по сути своей и по природе. Оно что-то отстаивает и что-то оспаривает. Облеченный чиновничьей властью человек со стороны претендует на роль высшего судьи и от роли этой не отказывается.

Может быть, пришедший «со стороны» поднимется над групповыми страстями и пристрастиями, постарается следить за нравственными правилами?

К сожалению, и эта робкая надежда не оправдалась, и не без его содействия дела в писательском Союзе подчас принимали такой оборот, что давали досадно легкий хлеб для эстрадников и фельетонистов.

Принято считать, что художник мыслит образами. Чиновник мыслит кампаниями, лозунгами, цитатами. Он по сей день верит или, не чуждый цинизма, делает вид, будто верит, что книги пишутся, сообразуясь с его рекомендациями, и коль осуществить, скажем, месячник по борьбе за положительного героя, провести «круглый стол», соответствующую организационную работу, в очередной раз определить любимчиков и постылых, то все перестроится в наилучшем виде. Жизнь и практика его ни в чем не убеждают, опыт он отбрасывает за ненадобностью и не воспринимает очевидных доводов. Привыкший открывать собрания, произносить вступительное слово, встречать зарубежных гостей, возглавлять делегации, он уверен, будто представляет литературу. Ложное положение мешает установить пределы, в которых он впрямь способен приносить, а подчас и приносит пользу. По натуре это зачастую трудяга, не обязательно лишенный дружелюбия и благожелательства. Но, будучи

продуктом культа личности, он трепетно сберег соответствующие тенденции, перенеся их в годы застоя — самые золотые для него денечки. И появившись малейшая возможность вернуть эти денечки, сноровисто и притко использует ее.

«Я сижу на э т о м четверть века», — сказал мне один такой деятель. Сидит, ничем не обогатив за четверть века поэзию и прозу, не написав ни одной дельной статьи, не высказав ни единой собственной мысли. Сидит, отдавая распоряжения, определяет, кого хвалить, кого бранить, ведет доверительные телефонные разговоры с другими руководящими людьми со стороны.

Их бросили на литературу, номенклатурная волна вынесла в начальнические кабинеты редакций, издательств, творческих организаций. С тем же успехом могла вынести в торговый главк или еще в какое-нибудь управление.

Крупнейшее в стране Издательство художественной литературы одно время возглавлял бывший работник Гулага. И это, смею заверить, еще не самый плохой директор. Он хотя бы честно признавался, что в издательском деле не смыслит, и прислушивался к толковым советам подчиненных. Когда пришел час замены, преемником назначили не кого-либо из таких подчиненных, но прислали чиновника, понимавшего гораздо меньше предшественника, однако считавшего себя докой. Новый директор благополучно довел издательство до ручки, получил взыскание, был снят и — заботами других людей со стороны — получил очередную руководящую пост. Для другой деятельности, кроме как руководящей, он непригоден.

Про торговый главк я упомянул, не желая кого-то поддеть. У человека со стороны, попавшего в сферу искусства, развивается чувство конъюнктуры, столь желательное в торговле. Не исключаю, что отсутствие индивидуальной трудовой деятельности, где так необходима предприимчивость, умение улавливать спрос, увы, благоприятствовало притоку в окололитературную сферу людей, не видевших, как иначе использовать свои наклонности. Возможно, они подчинились безотчетному импульсу.

С досадой и не без сожаления взирал я на моего собеседника, который четверть века сидит на э т о м.

Выполняя служебный долг, вчера он соучаствовал в гонениях на Твардовского, сегодня воздаст ему хвалу. Тогда — он уверен — правильно было травить, сегодня — хвалить. А завтра? Поживем — увидим, какая будет ситуация.

В этом своем представлении о правильности и правде он неуловимо напоминает опереточную диву, которая поворачивается вокруг собственной оси: «Смотрите здесь, смотрите там. Нравится ли это вам?»...

Моего собеседника обидели такие сравнения. Он, дескать, не флюгер, а верный солдат. А его кабинет с турецким ковром и японским сектором — надо понимать — солдатский блиндаж. Но чему же он сам верен, по кому периодически велся огонь из этого блиндажа?

По А. Яшину, А. Твардовскому, Э. Казакевичу, Ф. Абрамову, А. Платонову, В. Семину, К. Воробьеву, В. Гроссману... Называю лишь до срока ушедших из жизни. Они-то действительно были солдатами...

Человек человеку рознь. Даже если оба со стороны. Семен Давыдов тоже был солдатом, выполнял свою задачу, как рядовой боец. Но не за себя бился без страха и сомнений и пал, скошенный пулеметной очередью...

Мой собеседник в какие-то минуты, вероятно, рисковал. Своим местом, своим благополучием, своим правом удобно сидеть на этом.

Для Твардовского, Платонова, Абрамова литература — смысл и дело жизни. Собственная жизнь воспринималась ими в русле общей народной жизни. Потому и находили в себе силы для неравного единоборства с административной машиной, ее обслугой, отлично сознающей свой социальный интерес.

Перестройка? Да люди со стороны весь свой век только и перестраивались, подлаживались, угадывали направление ветра. И когда они заверяют сегодня о своей приверженности наступившим переменам, уже само это таит опасность. Их заверения подрывают веру других.

Человек со стороны рано или поздно почти неизбежно превращается в бюрократа. (Не такая ли перспектива побудила М. Шолохова обречь на гибель героя «Поднятой целины»?) Этот объективный закон сохраняет силу, даже когда случаются исключения. Главное условие функционирования человека со стороны — отсутствие демократии, профанация ее.

Бюрократия и демократизм — две вещи несовместимые. Равно как администрирование и творчество.

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь — это свобода...	3
Легенды и факты	20
Человеки со стороны	40

КАРДИН Эмиль Владимирович

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Литературная критика, литературная полемика

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 02.06.89. Подписано к печати 26.07.89. А 08892. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,38. Тираж 150 000 экз. Заказ №748. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ...

все вокруг заполонили. А с ростом количества средств транспорта растет число аварий, а также их краж и угонов. Возместить ущерб Вам поможет госстрах. Причем, страхуя свою автомашину, Вы можете выбрать наиболее приемлемый вариант: «каско» (страхование средств транспорта) или «авто-комби» (комбинированное страхование автомобиля, водителя и багажа). По «авто-комби» органы госстраха компенсируют также стоимость похищенных деталей и принадлежностей автомобиля и предметов багажа.

Одновременно считается застрахованным водитель автомобиля.

Заклучив договор страхования и заплатив относительно небольшую сумму, вы можете без опаски эксплуатировать свой автомобиль в течение всего срока действия договора.

● **Приятных вам поездок!**

**Правление государственного
страхования СССР**